

Владимир АЛЕЙНИКОВ

## БИТОВ: ШЕСТИДЕСЯТЫЕ

С Битовым познакомила меня то ли поздней осенью, то ли в самом начале зимы Змеинового, шестьдесят пятого года, смогистского, для всех, в столице, в провинции, за границей — везде, где знали об этом, Алена Басилова.

Встреча, весьма знаменательная для Андрея и для меня, — начиная с которой впоследствии чередой потянулись долгие годы дружбы нашей, не очень-то на другие дружбы похожей, но зато дававшей обоим нам, неизменно, стимул для творчества, вдохновлявшей то на поступки непредвиденные, такие, что не вмятятся сроду в рамки заурядные, то на какие-то фантастические прорывы в состояния непредсказуемые, с озарениями, со взрывами всех эмоций, всех чувств и слов, и возможных перемещений, по чутью, в пространстве, сквозь время, и увиденных, по наитию, несомненно, земных красот и небесных высей, со звездами, поднимавшими отовсюду нас, хмельных или трезвых, звавшими в путь, вперед, куда-то туда, в даль, которая открывалась перед нами как данность, в боль или в глубь, где крупную соль приходилось нам есть пудами, в бесконечной житейской драме, вырываясь из всяких уз, чтобы новый взвалить нам груз на усталые наши плечи, чтобы жить нам во имя речи, как умеем, — произошла, разумеется, у Алены, в квартире, которую знали в шестидесятых все писатели и поэты, художники, барды, ученые, переводчики, просто люди колоритные, вся богема, о которой впору поэму сочинить мне, в моих-то, нынешних, вон их сколько, седых, полынных и отшельнических, у моря, в киммерийской глуши, где вскоре вспыхнут новых свершений зори, в честь надежд и трудов, годах.

Туда, на Садово-Каретную, в старый дом, которого ныне давно уже нет, поскольку был он позднее снесен, и осталась о нем лишь память, в ту пору, во времена крылатые, отовсюду всех, как магнитом, стягивало.

Алена была звездой, на гребне своей известности, — в пределах московских и питерских, чего по тем временам было уже достаточно, и даже с лихвой, но молва о ней легко достигала и прочих мест, во пределах державы родной, — и там, в отдалении от

---

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Гадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

столицы, превращалась уже в легенду, неминуемо, при тогдашнем интересе провинциалов к жизни всей, с ореолом запретности и с печатью неофициальности, на творчестве, разношерстной донельзя, московской богемы.

Алена была — знаменита.

Еще бы! А как же иначе?

Поэтесса — из авангардных.

Смогистка. Жена Губанова.

Хозяйка салона известнейшего, где можно увидеть — всех.

Мы очень дружили с Аленой.

В отношения наших была — доверительность. Даже больше — доверие. Вера друг в друга. Приязнь. Свет общения. Радость. Участие — в судьбах: ее и моей. И — открытость. Внимание. Искренность наших поступков и слов. То тепло человечности, отзывчивость и понимание, без которых не мыслил я дружбы. А дружба — была. И — хорошая дружба. Достойная. Мне ли не помнить нынче об этом? И мне ли о ней — не сказать?

Хорошо приняла Алена и супругу мою тогдашнюю молодую, Наташу Кутузову, и сдружилась вскорости с ней.

И заглядывать стали сюда мы, на Садово-Каретную, в дом, где гостям всегда были рады, с ноября начиная — вдвоем.

Нет конца и края у осени, всем казалось. Но выпал снег. Стало холодно. Ветер хлопал чьей-то форточкой, рвал афиши в клочья, гнал их вдоль тротуаров. На деревьях остатки листьев, замерзая, слетали вниз, под ногами хрустели. Дни — уменьшались, тускнели. Ночи — удлинялись. И люди шли между ночью и днем, по кромке ледяной, куда-то в пустоты улиц, вытянутых назад и вперед, в немоту окраин или, в центре, в неровный гул площадей и к огням витринным, к полкам с пищею магазинным, к согревающим тело винам, ко всему, что могло спасти от мороза и от печали, от всего, чего все вначале дожидались, о чем скучали, от всего, что вблизи встречали на нелегком своем пути.

Постоянным нашим желанием было — где-нибудь обогреться, вечерок скоротать, поскольку ни жилья в Москве у меня своего, ни малейшего проблеска в непростой судьбе моей — не было, не предвиделось даже, пока что, хоть на лучшее мы и надеялись, без надежды никак ведь нельзя, и поэтому что-нибудь, может быть, в недалеком грядущем изменится, чтобы так вот не мучиться нам.

Только это — не так уж и важно.

Важно — то, что мы были с Наташей, несмотря на невзгоды — вдвоем.

Важно — то, что дружили с Аленой.

Важно — то, что пришли мы однажды к ней, поскольку звала — и ждала.

Мы пришли к Алене — а там находился недавно приехавший гость из Питера, Битов Андрей, вдохновенный, слегка подвыпивший, разговорчивый, со своей рыжегривой супругой, тоже вдохновенной, немного подвыпившей и веселой, Ингой Петкевич.

Вдохновлялись они, с удовольствием и с азартом, словно игра у супругов была такая, всем, что им на глаза попадалось, всем, что вспомнилось им случайно, всем, что к слову кстати пришлось.

Вдохновлялись — и окрылялись вмиг, на крыльях своих поднимались над Москвой, с ее холодами, и людьми, и огнями, вдвоем.

Настроение у супругов было, видимо, превосходным — говорили они, вперемешку, о высоком — и о своем.

Нам навстречу они рванулись вместе — словно взлетели оба — не на крыльях ли вдохновенья — воспарили, светом лучась.

Что-то было в этом шагаловское. Знать, отмеченные особо. Ирреальности откровенные. С остраненностью зримой связь.

Познакомились мы. Пригляделись: к нам — они, мы — к ним. По традиции, за знакомство хорошее, выпили. А потом — повторили. Потом — уж само собою, добавили. Постепенно — разговорились.

Попросили меня почитать, по традиции тоже, стихи.

Почитал я тогда наизусть все, что в голову мне пришло.

И стихи мои Битову с Ингой — было сразу об этом сказано после чтения — очень понравились.

По душе им обоим пришлись. Взволновали — до слез. А иначе быть, наверно, и не могло.

Был я в ту, бесконечно далекую (от сегодняшнего междувременья, с обнищанием чувств и мыслей повсеместным, неудержимым, с героическими попытками это все же остановить, даже, может, восстановить человечность и дух добра, как поэт утверждал, способный силы подлости, да и злобы одолеть), — золотую пору, вправе так я сказать, — в фаворе.

В молодой своей славе. Боже! Это надо же — молодой.

Вспоминаю — и удивляюсь, поседевший, выдавший виды, встарь срывающий покров Изида, чтобы к тайнам прорваться вдруг, сам себе, молодому, в славе настоящей, — неужто вправе я хранить ее ответ грустный нынче? СМОГ. Магический круг.

Обо мне — везде говорили. Ждали всюду меня — в столице.

Сочинять обо мне любили (да и любят ведь!) — небылицы.

Зывали меня — к себе, приглашали наперебой — в мастерские художников левых, бородатых и безбородых, в общежития, в институтские залы, в чьи-то квартиры, в комнаты коммунальные, где собирались регулярно, в изрядном количестве, любители и ценители стихов, — почитать, почитать, — пообщаться с поэтом известным, легендарным, скорей повидаться с ним, поскольку возможность такая наконец-то есть, пообщаться с толком, так, чтобы память осталась обо всем, — и еще почитать!

Вот что значит — известность, братцы и сестрицы. То-то и значит.

И забавно теперь, и грустно вспоминать о таком — иногда.

(Вспоминать об этом — теперь.

В дни предательств сплошных и потерь.

В одиночестве. В долгих трудах.

И в ночи — о семи звездах.

И с утра, сквозь щебет пичуг.

И когда тишина вокруг.

И когда налетит норд-ост.

И весной, когда травы — в рост.

И в осенней глуши сквозной.

И зимой, в белизне смурной.

Да и летом, бросавшим в жар.

То-то дан мне блаженный дар.

То-то выпал мне трудный путь.

Постиженья эпохи. Суть.

То-то имя мое — со мной.

Свет небесный — и век земной.)

Но — что было, то было. Слово-то — что с ним нынче такое? — «было».  
Может, слово согдится — «есть»? Оба — дышат. В полную силу.  
Оба — живы. Оба — зовут.  
Из былого. Из настоящего.  
Из грядущего — предстоящего?  
Им обоим? В ладье плывут?  
По волнам? В облаках? Вдали?  
Поднимаются ввысь? Взлетают?  
И туманы под ними тают.  
И склоняются ковыли.  
Оба вспомнятся, как ни волею.  
Время наше — свеча и полынь.

К тому же, в глазах моих современников многих, я выглядел страдальцем и даже мучеником, на себя принявшим страдания и мучения все, боровшимся, средь бесчасья, — за правое дело.

За поэзию. За свободу.

И молва по Москве гуляла, и летела, на юг, на север, на восток, на запад, и там умножалась и разрасталась:

— Пострадал — от властей.

— За что?

— Где?

— Когда?

— Почему?

— За СМОГ!..

Лидер СМОГа. О СМОГе все поголовно в те годы знали.

СМОГ такого наделал шуму, что глухие его отголоски до сих пор повсеместно слышны.

СМОГ — подобье большой войны.

Кто в ней — выиграл? Кто — проиграл?

Мы — прошли сквозь ее горнило.

Все. И — с честью. Что было, то было.

Дух эпохи. Бахов хорал.

Вечер давний тот у Алены оказался не только удачным и не только, для всех нас, памятным.

Оказался он, может быть, знаковым.

Для меня с Андреем — для двух мужиков, совершенно разных, и по возрасту, и по судьбам, но и схожих в чем-то, живущих поэзией, всем настоящим искусством, свободолюбивых, известных в богемных кругах, таких, пусть и каждый по-своему, колоритных, вроде — полярных, но при всем при том родственных личностей, — этот вечер стал самым началом долголетней и сложной дружбы.

И для наших супружеских пар — для меня с Наташей Кутузовой и для Битова с Ингой Петкевич — этот вечер стал добрым началом нашей дружбы — сквозь годы — семьями.

До того, разумеется, часа, когда семьи наши — распались.

Но до этого было в ту пору, слава богу, еще далеко.

А пока что нам было общаться — четверым — всегда интересно.

И полезно, поскольку творчеством жили все мы, — замечу теперь.

Андрею Битову было тогда двадцать восемь лет.

По давнишним богемным понятиям, с парадоксами их и загадками, закидонами и претензиями на солидность и взрослость, — немало.

По теперешним, с их, овеванным преждевременным опытом грустным, выживанием, впрямь искусством, да еще и серьезным, — немного.

Был он строен, скуласт, лобаст.

Беспокоен, плечист, очкаст.

Под настрой, под хмельком — речист.

В каждом жесте своем — артист.

Спину держал — прямо.

Шагал по земле — широко.

В комедию или в драму?

Вписывался легко.

Говорил — уверенно, громко, на низах уходящим в бас, на верхах залетающим в тенор, сочным, бархатно-влажным, густым, пряным, барственным баритоном.

Руки битовские были крепкие, с длинными, твердыми пальцами, на которых бросались в глаза тоже длинные, твердые, странные, заходящие на подушечки пальцев резкими полудугами, желтоватые, вроде когтей, в кожу накрепко вросших, ногти.

Что-то было в этих ногтях, думал я, не совсем человеческое.

Звериное? Птичье? Не знаю.

Подобных — не припоминаю.

Таких вот, изогнутых, твердых, костяных, копытных, когтистых, больше ни у кого я нигде никогда не встречал.

Скулы были — восточные. Азия?

Разгулявшихся предков фантазия?

Или, может, иная оказия?

Вход к отгадке закрыт на засов.

Европейское — близко маячило.

И — довлекло, и что-то да значило.

И — курочило явь, и корячило.

Не носил он — пока что — усов.

Глаза под очками — круглые.

Со слезою набухшею, карие.

Когда же снимал он очки — глаза становились узкими, косящими вроде. Монгольскими? Не знаю. Нет, вряд ли. Китайскими? Похоже на то. В чайна-тауне сочли бы его — своим.

— Обе мои петербургские бабки, — сказал, подвыпив, Битов однажды, — немки.

Сделал на этом походя нужный ему — акцент.

Заострил, ненароком, исподволь, без лишних деталей, — внимание.

Словно Джеймс Бонд из фильма. Больше — двойной агент.

Суперпрофессионал, все просчитавший заранее.

Шучу. Все проще, на деле.

Скулы его — бронзовели.

Цвели азиатским огнем.

И немецкое — было в нем.

Было. Вот оно. Вас ист дас?

Тут же выросло — в нужный час.

Из каких же он все-таки немцев?

Понятно, что из обрусевших, причем — обрусевших давно, петербургских, традиционно, для России, считавшихся русскими, но — с немецкими, в прошлом, корнями.

Без конкретики это, без фактов, на поверхности, так, для словца, для случайного упоминания, обтекаемо, без подробностей.

Изначально же — из каких немцев? Может быть, он — из гессенцев?

Представлял я себе, как встарь это племя, довольно странное, во главе с предводителем Кисеком, называемым русами всеми иронически, просто Киськой, издалека, с Востока, от самой границы с Китаем, от рубежей туманных Иньской обширной земли, пришло на русские земли европейские, а потом переместилось и западнее, на земли немецкие нынешние, где часть потомков его, изрядная, обитает и поныне, считаясь при этом, как положено, именно немцами.

Ездили эти люди за забавных, косматых, маленьких, но выносливых, неприхотливых и в походах удобных лошадакх.

Люди эти — носили косички.

Отсюда, кстати, припомнил я сейчас, и пошла эта мода — носить парики с косичками, в столетия прежние, в армии, в Европе, на прусский манер.

Кисековы — или Киськины, если по-русски, — гессенцы.

Не из них ли Андрей? Похоже.

Ну а может быть, из других, вон их сколько на свете, немцев.

Германские племена — кареглазые, круглоголовые.

Их немного было совсем, по сравнению со славянскими.

Остальные, так называемые немцы нынешние, — славяне.

Онемеченные, позабывшие и язык свой родной, и корни.

Светлоглазые, светлоголовые. Жертвы давней ассимиляции.

Прибалтийские русы. И прочие. Древний русский мир — был велик.

Эх, история! Сплошь — многоточия. Ко всему человек привык.

Прорубили — в Европу окно.

И — в России немцев полно.

Прижились. Обрусели — вновь.

Петербуржцы. И — вся любовь.

Предки Андрея какие-то, кажется, по морской части служили. Точно не помню сейчас. У него лучше вы сами спросите.

Его мать, незабвенная Ольга Алексеевна, мне говорила:

— Андрей уже с малых лет знал, что будет писателем. Если спрашивали его, кем он хочет стать, когда вырастет, отвечал он тут же: «Писателем!» И — сами видите — стал.

(От корня идите, граждане любезные, лишь от корня. Спрашивайте. Отвечаю. Отвечайте. Сызнова спрашиваю. Отвечаю — всем тем, что есть у меня, у вас, и у всех. Всем, что есть. Что было. Что будет. Всем. Что есть. У меня. Всегда. Где бы ни был я. Что бы ни делал. Как бы чем-нибудь я ни мучился. Как бы, выжив и встав, ни радовался. Что бы там, на воле, ни пел. С кем бы там, на пути, ни общался. И когда бы в глуши ни жил. В корень смотрите. Помните. В корень. Идите от корня.

И ночь. И день. И весна. И утро. И вечер. И осень. И зима. И свеча. И лампа. И лето. И вздох. И взгляд.

Созвездья седые. Струны. Глухие, в пустыне, луны. Лихие, в тиши, кануны. Кануны. Вперед. Назад.

Прорывы в пространство. Знаки. В степи, за холмами, злаки. Недремлющие собаки. Сады. Пруды. Сторожа.

Сквозь время. Сквозь темень. Звуки. Мгновенья. Забвенья. Муки. Прозренья. Синица в руки. Журавль. Острие ножа.

И ржавь. И наждачный блеск. И скорость, вместо корысти. Приязнь, вопреки боязни. Признание, после болезни. Призвание. Переживанье. Желанье. Имен склоненье. Всех звеньев цепи спряженье. Роенье. Соединенье. Струенье. Сквозь расстоянье. Горенье. Сквозь расставанье. До встречи. Вблизи. Вдали. До неба. И до земли. Сквозь ветер. Сквозь век. Сквозь речь. Куда бы еще увлечь. Туда, где словам просторней. Сквозь корни. В корень. От корня.)

Битов с Ингой довольно часто, чаще некуда, так скажу я, приезжали, вдвоем и порознь, как уж выйдет у них, в Москву.

Литературные, нужные, дела — и общение, важное, для них и для всех остальных, — все было именно здесь.

С ними виделись мы постоянно.

Появившись в столице, они звонили нам. Договаривались о встрече очередной. Мы куда-нибудь к ним приезжали.

Не обходилось без выпивки.

Выпивал Андрей в годы прежние, сколько помню его, всегда.

И не просто, как многие люди, выпивал, от случая к случаю, если повод был подходящий, далеко не всегда, — но и пил.

Впрочем, это дело хозяйское.

Значит, было это ему почему-то необходимо.

Наподобие пищи, требовалось.

Помогало держаться уверенно?

Быть смелее? Мало ли что!

Все когда-то мы — выпивали.

(Это нынче я так давно вообще ничего не пью, что начал подзабывать, сколько именно лет это длится.

И вкус питья позабыл давным-давно. И последствия. И похмельные состояния. Все, что связано было с питьем.)

Выпивали когда-то — все.

Это было — в порядке вещей.

Это был один, просто-напросто, из компонентов общения.

Так скажу я. И это — правда.

Правда — с привкусом алкоголя.

Но — куда от нее деваться?

Вдосталь воли в ней, вдосталь — боли.

Не желает она забываться.

Предостаточно в ней — страданий.

И с избытком — горьких прозрений.

И довольно ли в ней оправданий?

Ну, хотя бы — новых творений?

Разбираться не стану. Поздно.

Все, что было — временем скрыто.

Потому-то и смотрит грозно.

И — не ищет у нас защиты.

И не хочет, чтоб мы — вздыхали.  
Мол, могли бы жить по-другому.  
Правда — с привкусом нашей печали.  
В ясном небе — подобная грому.  
Правда — наша. С ней нету сладу.  
И пощады в ней нет, ни йоты.  
И бежать от нее — не надо.  
Все понятно в ней. С первой ноты.  
Как в мелодии — той, далекой.  
В чистой музыке лет минувших.  
Полнозвучной и ясноокой.  
Поминающей — всех уснувших.  
Продлевающей — песни наши.  
И врачующей — дух болящий.  
Наполняющей — наши чаши.  
Встречей радуя предстоящей.

В Москве Битов с Ингой частенько водили меня с Наташей Кутузовой по своим знакомым, которых было, как и друзей-приятелей, мнимых и настоящих, у молодых, талантливых петербуржцев — хоть отбавляй.

Помню вечные передвижения, торопливые перемещения, туда и сюда, по городу, вечерами, а то и ночами, разумеется — на такси.

Помню, как настежь распахивались двери — и на пороге появлялись мгновенно радостные хозяева, несколько взвинченные, восклицали что-то бравурное вразнобой, приглашали войти.

А там, куда мы приехали вчетвером, — и стол наготове, и, само собою, питье.

Все давно уже навеселе.

И, конечно, просят меня почитать им стихи. Обязательно. И желательно — прямо сейчас.

Вот уж люди! Вынь да положь.

Отказать — неловко. Проверено. Не поймут. Еще и обидятся.

И откуда такая любовь, повсеместная, право, — к поэзии?

Но любили стихи — всерьез.

Время было тогда — орфическим.

И ценил я это умение — понимать поэзию — с голоса.

Не с листа, как теперь, но — с голоса.

И опять приходилось читать.

Было чтение это — искусством.

Те, кто помнят, — небось подтвердят.

Я читал — и меня действительно все, кто были в квартире, — слушали. Еще как! Действительно — слышали. И действительно — понимали.

Понимали — в процессе чтения моего. Понимали — с голоса.

Голос — ключ к минувшей эпохе.

Голос — клич. А может быть — плач.

Голос — выход из лабиринта или, может, из катакомб в темноте бесчасья — на свет.

На вопросы души — ответ.

Я читал — и каждое слово близко к сердцу людьми принималось.

Это чувствовал я. И знал, что стихи мои — им нужны.

Я читал — как пел. Словно музыку создавал — и она звучала, здесь, для всех, посреди всеобщей, чуткой, бережной тишины.



А потом — разговоры всякие, похвалы, благодарные отзывы и восторги, порой умеренные, от которых, тут же смущаясь, я не знал, куда мне деваться.

Только искренность в этом — была.

Неизменная. Несомненная.

И отзывчивость в этом — была.

Долгожданная. Драгоценная.

Та, которой вовек не прерваться.

В одной из подобных квартир, где-то в центре столицы, в доме, с виду старом, стоящем отдельно, в стороне от других строений, бывшем, видимо, просто флигелем, после чтения моего хозяйка, полная, рыхлая, крупная, вся уж очень богемная, из таких, что со всеми — по-свойски, вскочила с места — и, налетев на меня, принялась обнимать, целовать, — и я помаленьку пятился от нее, а она — наступала, надвигалась всем корпусом, шла, как таран, на меня и с каждым шумным шагом своим, и с каждым всплеском белых, пухлых, мясистых, униженных кольцами рук все оглядывалась на Андрея, повторяя одно и то же:

— Андрей! Ну, спасибо, Андрей! Вот кого ты привел ко мне! Володю привел! Ах, Володя! Есенин! Ну прямо Есенин! Ах, люблю! Хорошо! Замечательно! Ах, Володенька! Милый! Хороший! Какой молодой! Как Есенин! Золотые, смотрите-ка, волосы! Ну, Володя, спасибо! Люблю!

Я не знал уже, как мне быть и куда поскорее спрятаться.

От такого напора — действительно сразу спрячешься. Но куда?

Ничего себе заявления!

Да нашла еще, сравнить с кем, ни с того ни с сего, — с Есениным!

Уж чего-чего, а вот этого я просто терпеть не мог.

Первое, что пришло ей в голову, то небось в порыве своем и выпалила.

А тут еще — возраст мой. Молодость. И стихи. И чуб мой, отчасти кудрявый, золотистый, светлый. И прочее.

Выпитое хозяйкой вино, в немалом количестве, в течение дня, и вечера, и чтения, например.

Не больно-то было приятно мне подобные излияния, даже искренние, не спорю, но чрезмерно бурные, слышать.

Я поглядывал вкось на Битова — что за чушь, мол, что за дела?

Но в ответ он лишь пожимал, театрально этак, плечами да руками все разводил, широко, с каждым разом шире, — что же делать, мол? Знай терпи. Принимай все, как есть. Смирись. Видишь — любит народ поэзию. И поэтов. Особенно — дамы.

Приходилось — и вправду терпеть.

И вино мне — в подобных случаях — пусть на время, да помогало.

Только некий осадок все-таки, горьковатый, — от вечеров, сходных с этим, с полубогемной, полупьяной, восторженной публикой, вроде ряженных, закружившейся в карнавальном, и впрямь повальном, не иначе, водовороте, — все равно в душе оставался.

Битов легко, мне казалось, — и, пожалуй, так все и было на деле — в шестидесятых годах сходил с людьми.

С московскими, подчеркну. Как с питерскими — не знаю. Но, думаю, без особых затруднений, тоже — легко.

И довольно легко, похоже, находил с ними общий язык.

Но везде и всегда, в любом состоянии, и в любой ситуации, и с любыми собеседниками, собутыльниками, соратниками, приятелями, друзьями, — был сам по себе.

Некоторую дистанцию, между собою — и прочими, кем бы ни были эти прочие, до общенья всегда охочие, а до выпивки так тем более, — умел выдерживать он.

Словно черту незримую в воздухе проводил.

Или стену, прозрачную, вроде бы невидимую, надежную, прочную, непроницаемую, меж собой — и другими, запросто, и — привычно, уже — умеючи, как-то разом вдруг воздвигал.

И — все. Закрыт. Защищен.

Там, извне, вблизи, вдалеке, в стороне, — какая-то публика.

Здесь, внутри, за чертой, за стеной, за гранью незримой, — Битов.

Со своими заботами. Многими.

Со своими устоями. Строгими.

Со своими, коль надо, трудами.

Так продолжалось — годами.

Об известности громкой своей, о широкой своей популярности — в Москве, у богемной братии, где возможным было признание, где формировалось общее, немаловажное, мнение, где складывался, с годами, исподволь, постепенно, все более укрепляясь и тяготея к легенде, приемлемый всеми образ, — Битов очень заботился.

Он охотно читал желающим услышать его — свою прозу.

Причем там читал, где и важно, и нужно было, для дела, с прагматизмом немецким отчасти, почему бы и нет, почитать.

Это — всегда срабатывало. Безотказно. Его положение, с каждым действием таким, укреплялось.

Это — исправно работало. На образ, прежде всего.

В самом деле, смотрите-ка, он, вроде бы и печатающийся, вроде бы официальный, так уж вышло сразу, прозаик, — оказывался на поверку вовсе не преуспевшим, не таким уж, везде и всюду, где пожелает, печатающимся, вовсе и не таким, вот ведь как оно повернулось и открылось, официальным, как некоторым казалось.

Выяснялось, тут же, на публике, ну а проще — среди своих, что у него, публикующегося автора, вы представьте только, в столе имеется внушительное количество серьезнейших сочинений, доселе не опубликованных, и даже таких, которые, по вполне понятным причинам, вряд ли могут быть напечатаны в ближайшее время, и даже, по причинам слишком весомым, вряд ли будут в нашей стране изданы вообще.

Упоминались — таинственные «Записки из-за угла».

Постоянно, в разных домах, говорилось — о том, что он усиленно, напряженно работает над романом.

Особенным. Небывалым.

Произносилось название, шепотом, — «Пушкинский дом».

Потом, в свой новый приезд, Андрей привозил, бывало, в Москву главу из романа.

Оповещал знакомых: намерен, мол, почитать.

Устраивалось немедленно чтение. Для своих. В узком кругу, понятно. Без особого афиширования.

Например, на Садово-Каретной, у той же Алены Басиловой.

Собирались вечером — избранные.

Романиста — внимательно слушали.

Читал Андрей — замечательно.

Потом — похвалы, восторги.

Общие. Обязательные.

И догадки вдруг — о подтексте.

О концепции. О структуре.

О приемах. О метафизике.  
О втором или третьем плане.  
О героях. И о сюжете.  
И — гадания: что же — дальше?

И так вот — глава за главой — выслушал я когда-то почти весь его новый роман, знаменитый «Пушкинский дом».

Такие, на людях, чтения — реклама очень хорошая.

Такие, вовремя, чтения — мостики своеобразные, протянутые ко всем — тогдашним, давнишним, — нам, к богеме, не издающейся, не имеющей отношения никакого к официальной, полуподпольной, сытой по горло запретами, братии, — мостики, по которым при некотором желании вполне можно было к нам, в наш вольный стан, перейти, — и тем самым стиралась грань очевидная, и тем самым устанавливалось как будто бы даже некое равенство или же подобие такового, — мол, все мы одна команда, если быть объективным, ребята.

В наведении регулярном таких вот мостов Андрей большим был специалистом.

К тому же, часто читая свою прозу, он приучал к себе московскую публику.

Везде к нему — привыкали.

И все — привыкли, в итоге.

И у Алены Басиловой все считали его — своим.

И у Сапгира его уже считали — своим.

И в доме у Великановых считали — своим. И так далее.

Молодец, Андрей! — ничего по-другому о нем не скажешь.

Ведь был он, вот что существенно, к тому же по-настоящему, и всем это было ясно тогда, еще и талантлив.

Он учился в шестидесятых — на высших сценарных курсах.

Было модно тогда и престижно — учиться на этих курсах.

Приезжали в Москву — из провинции.

По два года жили — в Москве.

Получали исправно стипендию.

Получали — на время — жилье.

Жили здесь — в свое удовольствие.

Фильмы лучшие все смотрели.

С кем хотели, с тем и общались.

К тайнам творческим приобщались.

Ощущали себя уж ежели не избранныками судьбы, то, по крайней мере, удачниками — пусть, согласны, и ненадолго, — но мало ли что, в любой момент, и тем более в будущем, при условии нужных связей, может произойти.

Потом, что правда, то правда, отучившись, набравшись опыта и умения, надо было что-то этакое, особенное, современное, своевременное, интересное, написать.

Сценарий. Оригинальный.

С новизной авторской. Свой.

И — пристроить его, желательно.

(Это было бы замечательно!)

Только это — не к спеху, не сразу.

Это — позже, это — потом.

А пока что — сплошное общение.

И — гульба. И — знакомства. Полезные.

А пока что — свободная жизнь.  
Жизнь — азартная, жизнь — богемная.  
И не где-нибудь — там, в провинции.  
Здесь, в столице. Именно здесь.

На высших сценарных курсах учился, весьма старательно, украинский поэт Иван Драч, основатель будущей «Руха», идеолог, древнего духа почитатель, борец со стажем, широко известный политик, депутат, государственный деятель, а тогда сидевший, по слухам, сиднем, в общежитейской комнате, в окружении москалей, инородцев и всяких прочих, без особых примет, субъектов, с чемоданом своих, авангардных, но с традициями народными, что должны были стать свободными от российских оков, стихов.

Здесь учился отменно хороший армянский писатель Грант Матевосян, печальный, задумчивый, неразговорчивый, весь в своем находящийся мире, там, в горах, вдали от Москвы, тихим творчеством ввысь ведомый от соблазнов земных человек.

Здесь училась тогда же Роза Хуснутдинова. Где ты, проза? Вся — поэзия, тайна, греза, возникала она — вдали.

Появлялась — и струны пели, и луна в ледяной купели отражалась, и к дальней цели всех капризы ее вела.

Стройная, нежная, бледная, восточная странная женщина, такая — одна-единственная, пленительная, таинственная, ходила она в диковинных нарядах, с обритой наголо, завернутой в легкие, мягкие, воздушные, образующие то ли подобие некое тюрбана, то ли какой-то сказочный, не иначе, убор головной Шемаханской царицы, своей точеной, сидящей на лебединой, гибкой и длинной, шее, благоуханной, туманной, высоко — среди богемы — поднятой, легкой, птичьей, змеиной головкой, держа на весу лицо напудренное, с губами коралловыми, с глазами бездонными, темными, томными, искося, исподволь, нехотя горящими жарким огнем.

Про нее тогда говорили, почему-то — всегда вполголоса или даже — чуть слышно, шепотом:

— Роза очень, очень талантлива!  
Но никто из ее писаний ничего никогда не читал.  
Были — слухи об этом. Домыслы.  
Про талантливость — верили на слово.  
Дева Роза была — загадкой.  
Дива Роза была — звездой.  
Здесь, на высших сценарных курсах.

Здесь учился — Резо Габриадзе.

Вспоминаю, как в ЦДЛ, в шумном, дымном кафе, заполненном разномастными посетителями, в самом дальнем углу, за столиком, до предела забитым бутылками, он сидел в одиночестве, пьяный, уронив тяжелую голову на свои скрещенные руки.

Мы с Андреем к нему подошли.  
Поздоровались. Нет ответа!  
Мы зовем его. Понапрасну!  
Что стряслось? Никого не слышит, ничего не видит Резо.  
Битов тронул его за плечо.

Резо Габриадзе очнулся, медленно поднял на нас опухшее, словно обвисшее вниз, неестественное бледное, отрешенное от всего, что творилось вокруг, в кафе, в этом шуме, и гаме, и дыме, вдохновенное — внутренней, видимо, никому не заметной работой, су-

ществующее отдельно от людей — большое лицо, посмотрел на меня и на Битова очень светлыми, утомленными, с бесконечной тоской по родной Имеретии, чуть мигающими, ну а может быть, и мерцающими, немостою своей говорящими больше, чем любыми словами, по-младенчески робкими, кроткими и по-старчески пронизательными, с умудренной слезою, глазами, — и сказал — словно выдохнул вдруг:

— Я был в России. Грачи кричали. Грачи кричали. Зачем? Зачем?..

И — вновь уронил свою голову вниз, на скрещенные руки.

Слова его были вроде бы знакомы мне. Из Бальмонта?

Сам он был в столице — залетной, по гнезду тоскующей птицей.

Вскоре стал Резо — знаменит.

Это были — сценарные курсы.

(Это вам не из Гоголя — бурса,

Бульба с люлькой, панночка, Вий.)

Курсы — высшие. С перспективой.

И солидной — в кармане — ксивой.

Путь в кино — как бильярдный кий.

Прям и точен: удар по шару.

В лузу! Что же, подбавим жару.

Путь в кино — счастливый билет.

Кто-то вытянул — вот удача!

Только так — и никак иначе.

Впереди — череда побед.

Здесь училась — Инга Петкевич.

Ничего не знаю — писала ли что-нибудь она — для кино.

Здесь учился — Андрей Битов.

Он сценарии — написал. И по ним — поставили фильмы.

Сонмы звезд и комет хвостатых.

След невольный — в людской молве.

Это было — в шестидесятых.

Посреди Союза. В Москве.

Помню, как-то я Инге с Андреем прочитал — наизусть, конечно, — у Алены Басиловой, вечером, в час, когда уже выпито было все, до капли последней, спиртное, и народ по домам расходился восвояси отсюда, лишь мы оставались, и все говорили о высоком, и кофе пили, и, за тихой беседой, курили, и волокна дымные плыли к потолку, — стихи Кублановского.

Ранние. И, по-моему, симпатичные. Со своим, юношеским, с наивной, надтреснутой ноткою, голосом и со своим, какое уж было тогда, лицом.

Не изданные доселе. Старательно позабытые Кубом, в угоду позднему, трезвому его писаниям.

Реакция Битова с Ингой оказалась быстрой и жесткой.

Оба сразу же заявили, не сговариваясь:

— Нет, не то!..

И тогда я Инге с Андреем прочитал — наизусть, естественно, по привычке своей давнишней (и теперешней, признаюсь, только реже это с годами, что ж поделать, со мной бывает, хоть привычка сама жива, сохранилась), — под настроение, в тишине,

которая вдруг воцарилась в Алениной комнате, напряженной какой-то, праздничной, вдохновенной, — стихи Губанова.

Реакция Битова с Ингой была мгновенной, восторженной.

Оба тут же воскликнули:

— Здорово!

Пояснив:

— А вот это — то!..

Почему-то заволновались:

— Леня! Ленечка! Молодец!

Обратились — вдвоем — к Алене:

— Он когда придет, наконец?

— Он в запое, — сказала Алена. — Протрезвеет — и сам придет. Отовсюду, где пьет с друзьями, он дорогу сюда найдет.

Покачал головою Битов:

— Повидаться хочу я с ним.

Рыжей гривой тряхнула Инга:

— Он судьбою своей храним.

И достал из сумки бутылку, им припрятанную, Андрей:

— За Губанова, за поэта, надо выпить — и поскорей!

Вот и выпили мы за Леню.

Ветерок залетел в окно.

Стало грустно тогда Алене.

Горьковатым было вино.

Попрощались мы с нею. Встали.

Вышли в мир, чей был чуток сон.

В ночь, где люди чего-то ждали.

В речь, живущую вне времен...

Однажды в чьей-то квартире мы, как всегда, выпивали.

Я, как и всегда, по традиции тогдашней, читал стихи.

Андрей, запомнив их с голоса, повторял то и дело запавшие в душу ему, глубоко и надолго, видимо, строки:

— Но раскроется роза, и в ней — золотая пчела удивления.

Он ходил, вдоль стола, вдоль стен, — и эти слова твердил.

Стихи были — новые. Много тогда я работал. Не только ведь с Битовым выпивал. Вырастала — новая книга.

Почему-то спросил я Битова:

— Андрей, а сколько ты, в общей сложности, начиная с самых первых вещей, по объему, прозы своей написал?

Битов остановился. Поправил очки. Хлебнул из фужера. Немного подумал.

Покосился на книжный шкаф, где на полках, в полной сохранности, аккуратнейшими рядами, стояли, одно за другим, собрания сочинений самых разных писателей.

Сказал:

— Ну, если прикинуть, как у этих вот, классиков, — тут он показал на книги в шкафу, — то я тома три написал.

Но взгляд его, устремленный на собрания сочинений, чужие, был — это бросилось в глаза мне в ту же секунду, — красноречиво-ревнив.

Наверное, и ему хотелось, конечно, хотелось, даже очень хотелось, и это понятно ведь, написать — со временем, разумеется — свое, вот именно, собственное, из внушительного числа солидных томов состоящее, собрание сочинений.

Похвальное, в общем-то, правильное желание, для писателя.  
Дай-то Бог ему сил для этого.  
И упорства. И воли. И времени.  
Так рассудил я тогда.

Не припомню, чтоб где-нибудь там, где всегда читали стихи или прозу, где пили чай или кофе, а то и покрепче, позабористее, напитки, вроде водки или вина, в основном, где курили — все, говорили, галдели — все, обсуждали — решительно все, что годится для обсуждений, рассуждали порой — о высоком, били — чашки, морды, стаканы, жили — странными новостями и делами среды богемной, пели — часто, с душой, под гитару, знали — всё, обо всех, обо всем, что на белом свете творится, ночью, днем ли, здесь или там, были рады поздним гостям, похмелялись, друзьям звонили и знакомым, куда-то плыли по течению или вспять, чтобы жизнь по новой начать, — слышал я Ингу Петкевич.

Ее взрослая проза, неизданная, о которой все говорили, что она интересна, талантлива, необычна, свежа, оставалась, год за годом, довольно долго, для меня полнейшей загадкой.

Но детскую книжку ее читал я — и книжка эта мне очень, помню, понравилась.

Инга была еще и актрисой. Уж точно — яркой.

Недаром снималась в кино.

Пусть в эпизодах. Изредка.

Пусть даже — в массовках. Неважно.

Важно — что в жизни была восхитительно артистична.

Важно — что образ ее вспыхивал в шестидесятых — рыжим огнем — на снегу, пламенем жарким — в дождях.

Инга была — особенная.

Инга была — солнечная.

Белая. Рыжая. Жаркая.

Смех ее — ржание — жарким был.

Но была в ней порою — прохлада.

И — таимая ранее грусть.

Петербургская дама. Привада.

Европейка. Леди Годива.

Словно легкая мгла — над Невою.

Словно рыжая прядь — на снегу.

Любопытная пара была — петербургские гости в Москве — иностранцы почти, люди светские и богемные — Инга с Андреем.

Инга Андрея — не дополняла.

Инга Андрея — лишь укрупняла.

Отдаляла порой — от себя.

Отделяла его — любя.

И тем самым — вновь укрепляла.

Над обыденным всем — возвышала.

Инга была — сама по себе. Вольная птица. Львица.

В храме ночей, в драме речей — пленница. И — жрица.

Мерцающий жар зрачка.

Припухшие губы: роза.

Плечо. Изгиб локотка.  
И разве все это — проза?  
Волос — в огне — завитки.  
В руке — сигаретка. Чары?  
Пожалуй. И в них — силки.  
Для певчего — свыше — дара.

Квартира занятая — в Питере, на Невском. Вблизи — Московский вокзал. Квартира — шарада. Но, может быть, так и надо? И в этом-то — вся отрада? И нет в ней — лишних примет?

Две комнаты. Нет здесь — быта. Раздоры и страсти — скрыты. Подобье гнезда — не свито. Есть — кофе. А хлеба — нет.

Есть — стены, почти пустые. Обои. Две-три картинки. Ворошилов — подаренный мною. Кулаков — подарок от автора — загогулины всякие, вроде иероглифов, с вывертом, — Битову.

Есть — высокие вроде бы — окна.  
Есть — высокие вроде бы — двери.  
Потолок — похоже, высокий.  
Пол — как двор: просторный, пустой.  
Две-три пары туфель в углу.  
Три-четыре чашки. Тарелка.  
Блюдец. Пепельница. Кофемолка.  
Стопки книг — их не сразу заметишь.  
Рюмки. Ложки. Две-три бутылки.  
Сигареты. Часы. Очки.

Есть — письменный стол-корабль.

Огромный. Фрегат на рейде.

За столом — руки вытянув — Битов.

Над столом, за спиной Андрея, на стене, над его головой, — фотография: человек, пожилой, а в руке — сачок, — ловит бабочек? — что за блажь? — взгляд — лукавый, умный, — в упор, и — насквозь, и — навек! — Набоков.

...Петербургские сумерки. Вечер.  
Стол-фрегат. И на нем — капитан.  
Петербургский писатель. Битов.  
И над ним — в небесах — Набоков.  
И за ним — за домами — Нева.  
За Невою — залив. И — море.  
Незабвенные времена.  
Колыханье шестидесятых.  
Полыханье Ингиной гривы.  
Битов. Проза его. Глаза.  
Стол-фрегат. Перед ним — стихия.  
Петербургская ночь. И — речь.  
Значит, стоили встречи — свеч?  
Ночь. Набоков. Очки. Сачок.  
Две слезинки — в ночи — со щек.  
Две ли? Больше ли? Так, две-три.  
Не заметили? Что ж, сотри.



Что же стало, Андрей, судьбой?  
Будь — собою. И — Бог с тобой!..

Как-то исподволь, незаметно, я привык и к тому, что есть он, что присутствует в мире он, и к тому, что пишет он прозу, говорит — всегда интересно, колоритен, оригинален, обаятелен, пьян порой или чуть во хмелю — с друзьями, но в делах — прагматичен, трезв, — и во всем, что делает он, есть, похоже, неповторимость, Божья искра — с людскою волей, что-то свыше — и слишком земное, почва твердая под ногами, над которой — воздуха знак.

Битов — Огненный Бык. Особенный. Он родился — в тридцать седьмом, под созвездием Близнецов, двадцать седьмого мая.

В этот день, в шестьдесят втором, в Кривом Роге, я написал:

— Тучи ушли на запад, бок земле холодя, — только остался запах спелых капель дождя.

Мне было — шестнадцать лет. Писал я тогда, стихи и прозу свою, — запоем.

В этот день, в восемьдесят третьем, умерла моя любимая бабушка, баба Поля, мамина мама, Пелагея Васильевна Железнова, урожденная Кутузова.

Бабушка моя, с ее чутьем и огромным ведическим опытом, поняла Андрея — мгновенно, и потом, позднее, порой очень верно всегда мне о нем говорила.

В этот же день, и тоже в тридцать седьмом, родился мой криворожский друг Рудик Кан.

В этот день, в шестьдесят пятом, перед моим отъездом на Тамань, в Москве, Артур Владимирович Фонвизин, слушая, как я читаю стихи, написал мой портрет.

В этот день, давным-давно, в самом начале шестидесятых, по-настоящему, навсегда, ощутил я себя — поэтом.

Вот какой это день, когда появился на свет Андрей. Вот какой это день. Майский. Под созвездием Близнецов.

Чумаки — в Крым, за солью, — веками ездили на волах. В образе быка громовержец Зевс на спине могучей своей нес по волнам Европу. Быки всегда были рядом с людьми.

Битова — отовсюду — всегда вывозил на себе — огненный Бык. Огненный. Тотем его. Фирменный знак.

Такой же тотем, как у Битова, и такой же знак зодиака был — почему-то вспомнилось это — и у Волошина.

Совпадений и параллелей — восталь. Все — далеко не случайны.

Что за мистика? — скажут. Наша. Наши судьбы и наши тайны.

Битов. Огненный Бык.

Было ли в нем — демоническое нечто? Не было вовсе.

Это — совсем другие категории. Не для того, кто слишком привязан к земле.

Но было в нем — некое постоянное попадание в десятку, неизвестно каким способом, было — как в картах — вечное везение, неизменное двадцать одно, — было в нем — как бы это сказать поточнее? — что-то такое, сфокусированное на нем, откуда-то, — но откуда? — остается только гадать, — будто постоянно был он в направленном на него, световом, хоть и неярком, не бросающемся в глаза, не ослепительном, не магнетически властном, наоборот, неброском, однако — не гаснущем, не исчезающем, наоборот — устойчивом, четком луче — непонятно из какого фонаря, — будто где-то там, и поди гадай — где, неизвестно какие существа — поставили на него, и наблюдают за ним, и помогают ему постоянно, и заботятся о том, чтобы он все время был в выигрыше, был

удачлив, был — на виду, был — в какой-то мере эталоном современного человека, писателя, мужика, с машиной, квартирой, дачей, изданиями, известностью отечественной и заграничной, со своим — отработанным, надо заметить, и не в смысле создания образа, но — проще, определеннее, отработанным — как на работе, в институте ли, на производстве ли, все равно, усердно, по-честному, с бесконечным старанием, имиджем, как сейчас говорят, со своим, привычно солирующим, но никак уж не в хоре, голосом, со своим, давно путешествующим, бодро движущимся в пространстве, в жестких рамках — ему отведенного, на игру его всю, по крупной, на его пребывание в мире, или — существование в яви, без участия прави в нем, без возможного, в будущем, выхода — в измерения новые и в другие миры — дорогого земного времени.

Дорогого. Ведь в нем — успех. Что же! Этимология этого слова — предельно ясна. От другого слова — успеть. Актуально это, не правда ли? Современно и даже — модно: здесь, в юдоли, — взять да успеть.

Все — успеть. Получить — при жизни. Все, что можно. И даже — больше. Непременно — успеть. А потом? Ах, да мало ли что — потом! Важно все получить — сейчас. Поскорее. Сию секунду.

Можно — петь. А можно — успеть. Можно — пить. Но только — не спать. Только — в путь. Успевать. Повсюду. Что-то — можно стерпеть. Но — успеть. И — свое наверстать. И — встать. Меж других. Современным героем.

Надо всем, что мешало, — встать.

Все — успеть. И — свое сказать.

Слово? Именно слово. Как?

Здесь поможет — воздуха знак.

Так сказать, чтоб — не в плач, не в крик.

Здесь поможет — Огненный Бык.

Помогают. Успеть — скорей.

Не горюй о былом, Андрей!

Что за силы? Откуда — весть?

Света — мало. Темноты — есть.

Что за вера? — Во что? В кого?

Чье же — все-таки — торжество?

Чья же — все-таки — здесь игра?

Чье-то *завтра* — его *вчера*.

Чьи же — все-таки — свечи здесь?

Завтра — поздно уж. Нынче. Днесь.

Так, в пределах земных, — вперед.

Что-то оторопь вдруг берет.

Но задерживаться — нельзя.

Где-то в мире — его стезя.

Или, может быть, — вздох о ней?

Где-то на людях — в пену дней.

Как в волну — головой. Нырок.

И — навверх. В суету дорог.

В темноту — как на свет. Не вдруг.

Воздух — знак. На земле же — круг.

В круге дороги — век и миг.

В путь — по кругу. Огненный Бык.

Был ли способен он, иногда хотя бы, а может быть, и довольно часто, поскольку жизнь сама призывала к этому, и не раз, и не два, но многожды, на поступки? Да, разумеется.

Способен ли был — на подвиги? Вряд ли. Ведь здесь нужны — самоотверженность, жертвенность, нешуточное горение.

Андрей был все-таки слишком уж замкнут на всем, что было в нем собственным, личным, удельным, родным, на себе самом, чтобы, во имя подвига, творческого, допустим, пожертвовать вдруг земным своим временем — и движением своим, путешествием, долгим, непрерывным, своим — на север, на юг, на восток и на запад — в пределах земного круга.

Был ли он мне настоящим, добрым, хорошим другом — хотя бы в шестидесятых? Думаю — все-таки был.

Потом, позднее, с годами, — было уже не то. Просто — я это видел, — срабатывала инерция.

Но какое-то неизменное, долговечное изумление в душе его — по отношению ко мне, и к моим стихам, и ко всем остальным трудам, ко всему, что со мною связано, — полагаю, доселе осталось.

Да, осталось. Что живо, то живо.

Был ли он способен, хоть изредка, хоть единственный раз, на предательство?

Не хочу говорить об этом.

Если что и было когда-нибудь — то с него, как известно, и спросится.

Бог ему — да и всем нам — судья.

Битов — не пешеход. Он — автомобилист.

Вереницей, из года в год, чередой долгой прошли, появляясь во всей красе, чтоб исчезнуть потом вдали, в лабиринтах былых дорог, им сменяемые машины.

Он — давно уже за рулем. Словно сросся с автомобилем.

Современный кентавр? Не знаю. Кентавр — существо загадочное. Попробуй-ка разберись — кто он, собственно, был ли он?

В случае с Битовым — все неизмеримо проще.

Он — человек в седле. Мягком. Автомобильном.

Для него машина, любая, — просто-напросто необходимость.

И сейчас впечатляет это. А по старым-то временам — впечатляло куда сильнее!

Марку Андрей держал — во всем. В том числе и с машинами.

Тем не менее были они для него, человека в седле, прежде всего удобным средством передвижения.

Однажды приехал в Москву он — из Грузии — на машине. Без ветрового стекла.

Разбил. Заменять было — некогда. Торопился писатель в столицу.

Да еще и понравилось вдруг — ехать к северу именно так.

Ветер в лицо. Романтика? Может быть. Ну и что?

Гаишники — останавливали. Удивлялись: что за причуда?

Но что они, эти гаишники бестолковые, понимали, если — ветер хлестал в лицо, если прямо в глаза — пространство!

Было холодно, даже очень. Заболеть мог любой. Но — не Битов.

Битов холода — не замечал. Не хотел замечать — и все тут.

Характер. Упрямство. Пристрастие — к дорогам. Воля. Желание — на колесах, без чьей-либо помощи, пусть и в холоде, но — добраться — самому, как всегда, — до Москвы.

И — доехал благополучно. Ничего с ним в пути не стряслось.

Битов был — всегда при деньгах.

Даже в молодости. Неизменно.

Почему-то — умел зарабатывать.

Хорошо, что — умел.

Битов был — всегда на коне.  
С самых первых шагов своих.  
С самых первых своих публикаций.  
С первой книги. И с первой рецензии. Вот на эту — первую — книгу.  
Никогда он коня — не менял. Даже на переправе.  
Через реку? Это — не Лета.  
Через озеро? Это — не море.  
Через море? Это — не бездна, из которой выхода нет.  
Выход — был. Всегда находился. Из любых — везде — состояний. Сквозь любые —  
всюду — преграды.  
Переправиться. Преодолеть.  
Пережить — и добраться. Успеть.  
На ходу. На коне. В седле.  
По земле. По земле. По земле.  
Иногда — над землей. И — назад.  
Четкий принцип и трезвый взгляд.  
На людей. На вещи — в труде.  
Быть — так здесь. Никогда — нигде.  
Не витать в облаках. Есть — путь.  
Видеть смысл в этом. Или — суть?  
Не всегда. Что пером скрипеть?  
Есть — машинка. Издать. Успеть.  
Есть — машина. Дорога — есть.  
Сесть в седло — и... Куда? — Бог весть!

...Пожалуй, надо рассказать о моем дне рождения двадцать восьмого января шестидесят седьмого года.

Мы решили его отметить у Ляли Островской, в ее скромной, но милой всем нам квартирке в деревянном доме на Трифоновской улице.

Мы заранее договорились о встрече у нее, в мой день, вечером, не очень рано и не слишком поздно, часов в семь.

Охотно согласились прийти Наташа Светлова (будущая Солженицына) и Наташа Горбаневская. Тогда ведь я с ними очень дружил.

Ко мне приехал мой давний, еще со школьной поры, друг, Виталик Гладкий.

Я встретил его на Курском вокзале.

Он привез с собой из Кривого Рога, от моих родителей, письма, поздравления и всякие приятные гостинцы.

Мы с ним добрались с вокзала до улицы Годовикова, где я обитал, — и он, человек общительный, обаятельный, сразу как-то пришелся к дому.

И мы поселили его у нас, на все время его пребывания в Москве.

В тесноте, да не в обиде — так все рассудили.

Виталик, человек по-особому, по-украински, умный, пронизательный, весьма острый на язык, едкий в некоторых, только ему одному присущих, выражениях, к тому же еще и подкрепленных неповторимыми его, ироничными, блестящими юмором, интонациями, характерными его жестами, человек, владеющий сызмала яркой, сочной, меткой, образной речью, поблескивая своими карими глазами из-под очков и откидывая со лба косо срезанный клин запорожского чуба, рассказывал мне о наших общих криворожских знакомых и о жизни в родном городе.

Мне с ним было всегда интересно.

С тех еще пор, когда мы вместе по утрам ходили в школу, а потом, уже днем, возвращались домой.

С тех еще пор, когда вместе с ним учились мы в техникуме.

С той, блаженной и блаженной, поры нашей ранней, старательно взрослеющей, провинциальной юности, когда мы, там, в нашей, относительной, конечно, да все-таки глуши, постигали открывающуюся перед нами жизнь.

Был он всегда независим в суждениях. Обо всем на свете имел собственное мнение. Говорил только о том, что сам хорошо знал. То, чего не знал еще, старался узнать — сам.

Такой он, везде и во всем, несмотря на свою компанейскость, несмотря на общительность, несмотря на свой интерес к людям, к самым разным проявлениям жизни, был одиноличник.

Превыше всего дорожил он своей независимостью.

Надо заметить, это ему как-то очень всегда шло.

Оригинальность, единственность — вот что его всегда отличало и выделяло среди прочих.

Другого такого — не было. Да и быть не могло.

Наша старая дружба продолжалась во времени, казалась нам обоим крепкой, более того — нерушимой.

Я и сейчас, пусть и не виделись мы с ним давно, считаю его настоящим своим другом.

А в шестидесятых — это был золотой мой друг. И постоянный собеседник. А иногда и советчик. Потому что, как уже говорилось, обладал он особым, тяготеющим к синтезу, способным угадывать самое главное, глубоким, гибким и острым умом.

И мы с Виталиком чудесно проводили время. Нам было о чем говорить, было куда ходить.

На свой день рождения, разумеется, пригласил я и его.

Виталик откликнулся на это по-своему.

Он не стал размениваться на приобретение дешевого вина, он отправился в магазин и купил там пару бутылок болгарской «Плиски».

Поступок, в те времена, когда мы на всем экономили, решительный.

Он принес эти симпатичные, пузатенькие, приземистые, но с узким горлышком, темно-зеленые бутылки, ценою в пять рублей двенадцать копеек каждая, что меня, в ту пору вечно считающего каждую копейку, поскольку наличных средств у меня всегда было в обрез, поначалу смутило, а потом развеселило и даже вдохновило, и невозмутимо присоединил их к уже купленным накануне мною и поставленным плотной шеренгой в сумку бутылкам самого дешевого вина, столового и портвейна, а заодно и небрежным жестом бросил туда же несколько пачек вполне приличных сигарет с фильтром.

Таков был его скромный, но весомый вклад «в общий котел», как тогда выражались.

Все у нас вроде было приготовлено для дружеского вечера.

К тому же со своей стороны, и приглашенные мною дамы по традиции должны были принести кое-что из еды и питья с собой, прямо к Ляле.

Поразмыслив, я позвонил Андрею Битову и пригласил его, вместе с Ингой Петкевич, его тогдашней женой.

Андрей твердо пообещал прийти, но чтобы не запутаться с адресом, попросил встретить его на трамвайной остановке.

Мы взяли нашу поклажу, вышли втроем — я, Наташа Кутузова и Виталик Гладкий — на проспект Мира, сели в подкатившийся к нам из продуваемого холодным зимним ве-

тром, сквозного, режущего и гудящего транспортом, продольного, утомительно длинного, долгого, от Колхозной площади до ВДНХ и дальше, обреченно смирившегося с непрерывным движением, отчасти напоминающего аэродинамическую трубу, пространства, светящийся запотевшими окнами, бодро позванивающий, красный, как ягода на снегу, трамвай — и довольно быстро добрались до Лялиного дома.

Там, в тепле, в уюте, встретили нас Ляля и обе Натальи, Светлова и Горбаневская.

Там они сразу же принялись меня поздравлять.

Там разгрузили мы свою тяжелую сумку.

Там уже накрыт был стол.

И мы, отдышавшись с мороза, усевшись за столом, не откладывая дела в долгий ящик, принялись по-дружески пировать.

Однако я иногда поглядывал на часы.

Надо ведь было встречать Битова с Ингой.

Время это подошло. Я оделся и вышел на улицу.

На трамвайной остановке пришлось мне довольно долго стоять и ждать своих запаздывающих гостей.

Наконец увидел я знакомые фигуры — Андрея, несколько набычивавшегося, то наклонявшего крупную голову вперед, то откидывавшего ее назад, куда-то за плечи, но спину по привычке державшего прямо, и его жены Инги Петкевич, в вихре рыжих волос, весело и громко ржущей, хохочущей.

Но с ними вместе были и незнакомые люди.

Один из них, довольно высокий, худой, очкастый, держался вроде бы с некоторой отстраненностью от всего, что происходило рядом, но одновременно и так, будто все вокруг вертелось именно вокруг него, как вокруг оси, то есть чувствовал себя, похоже, главным, осознавал себя хозяином положения. Почему я это сразу же увидел и отметил? Не знаю. Но первое впечатление всегда самое верное.

Второй, маленький, тщедушный, совсем уж хлипкий какой-то, находился будто бы в тени высокого, худого, очкастого. Видно было, что он старался далеко от этого высокого не отходить, вообще — держаться поближе, почти вплотную. И когда он удалялся от этого высокого — несомненно, того, от которого он зависел, покровителя, даже, может, хозяина, хотя бы на небольшое расстояние, то тут же оглядывался назад, замедлял шаг и норовил опять прибиться поплотнее к высокому, притулиться к нему. На плече этот маленький держал гитару.

Создавалось впечатление, что этот пока что неизвестный мне высокий вел еще неизвестного мне маленького, как собачонку, на поводке.

Вся компания двинулась ко мне. Все они были навеселе.

Андрей и рыжегривая Инга шумно поздоровались со мной.

Потом Андрей представил меня незнакомцам:

— Это Володя Алейников, замечательный поэт. Прошу любить и жаловать. У него сегодня день рождения. Мы пришли к нему в гости.

Произнеся своим артистическим голосом эту рядовую тираду, Андрей представил мне высокого и маленького незнакомцев.

Поначалу — высокого:

— Вадим Кожинов.

Церемонно и сухо, чуть-чуть, всего лишь на полсекунды, склонив голову и тут же выпрямив ее, Кожинов пожал мне руку.

Потом — очередь дошла и до маленького:

— Николай Рубцов.

Скорчив почему-то гримасу, маленький небрежно, как смятый газетный кулек с закусью где-нибудь в пивной, протянул мне влажную, скрюченную ладонь и тут же отдернул ее, словно боясь обжечься.

— Вот и познакомились! — резюмировал Битов. — Ну что, куда идти? Пора, пора праздновать. Мы запоздали, конечно. Ты уж извини, Володя. Но зато и у нас тут кое-что есть с собой.

В карманах и сумках у компании выразительно звякнули бутылки спиртного.  
Я повел их за собой.

Они поднялись вслед за мной по скрипучей лестнице наверх, вошли в Лялину квартиру, их встретили там достаточно приветливо, — но что-то сразу же здесь изменилось.

Что-то нарушилось. Почему?

Нарушилось, и все тут.

Я чувствовал вторжение чужеродной энергии.

Новые гости разместились за столом.

Достали принесенные бутылки.

Немедленно принялись их открывать.

Полилась в стаканы водка.

Свою дешевую, глухо, обиженно звякнувшую струнами гитару, доселе закинутую на узкое плечо, Рубцов сразу же прислонил к стене, позади себя.

Он придвинул свой стул поближе к столу.

Его сейчас интересовало только одно — водка.

Он вожделенно смотрел на стаканы, наполняемые Битовым.

Получилось так, что пришедшая компания расположилась за столом напротив нашей.

Верховодил в компании — Кожинов.

Он сидел посередине, и с одной стороны от него сидел Битов, а с другой — Инга.

А вроде бы и здесь же, но как-то в сторонке все же, сидел Рубцов.

Гости наполнили стаканы, подняли их — и, произнеся краткий тост в мой адрес, осушили их.

Мы все вынуждены были привыкать к их присутствию в Лялиной квартире.

Я подумал, что им, в сущности, наплевать было и на мой день рождения, и на всех нас, если не Андрею с Ингой, такое вряд ли могло быть, то уж точно — Кожинову с Рубцовым.

Но поскольку Битов с женой пришел с ними, то и эти питерские люди, считавшиеся моими друзьями, оказывались в другой команде, не нашей, а кожиновской.

Да так оно и было.

Вначале они просто выпивали и закусывали, весьма обособленно, с некоторым вызовом даже, что и было всеми нами незамедлительно замечено и как-то неприятно резануло, по живому.

Наташа Горбаневская встала из-за стола и вышла в соседнюю комнату.

Вслед за нею вышла Наташа Светлова.

За Светловой вышел и я.

Наша хозяйка Ляля, растерянная, покрасневшая, пыталась не замечать неприятных для нее черт в поведении совершенно незнакомых ей, озадачивающих, чужих людей — Кожинова и Рубцова.

На Битова с Ингой она, зная, кто это, время от времени поглядывала, будто надеясь, что вот-вот они сумеют все смягчить, уравновесить.

Наташа Кутузова — молча курила.

А Виталик Гладкий — сразу понял все.

Губы его, как это с ним в подобных ситуациях всегда бывало, сжались, образуя направленную концами вниз, твердую подковку.

В его глазах, за стеклами очков с большими диоптриями, разгорелся огонь негодования.

Он весь напрягся, помрачнел.

Видно было: в случае чего — он за словом в карман не полезет.

Он оглянулся на меня.

Издали я сделал ему знак, чтобы потерпел, подождал.

Он хмыкнул и нехотя качнул головой.

Потом налил себе в рюмку немного «Плиски» и залпом выпил.

В соседней комнате я подошел к моим подругам Натальям — Светловой и Горбаневской.

Наташа Горбаневская стояла бледная, нервно курила.

— Кто это такой, тот, высокий, в очках? — спрашивала ее Наташа Светлова.

— Как? Ты не знаешь? — вскинула на нее близорукие, огорченно моргающие глаза Горбаневская. — Это же Кожинов!

— Кто? — удивленно переспросила Светлова.

— Ну Кожинов, Кожинов. Тот самый. Ну вспомни!

— Ах, тот самый Кожинов? — Светлова вспомнила. — Ну и что? Раз пришел, так пусть уж сидит. Что делать?

Выдержке ее можно было позавидовать.

— Милые мои дамы! Никто его сюда не звал! — грустно сказал я. — И Кожинов, и Рубцов — пришли с Битовым. Некстати, конечно, все это. Больше того: зачем? И мне то — каково теперь?

— Не огорчайся, Володя! — утешила меня Наташа Светлова. — И не такое бывает.

— Вот уж точно! — вздохнула Наташа Горбаневская.

— Пойдемте-ка за стол! — решительно сказала Светлова. — Будем отмечать Володин день рождения.

И мы втроем вернулись за стол.

Вечер наш продолжался.

Уж так, как сложился.

На противоположной стороне стола шла обычная, заурядная пьянка. Там говорили все больше о своем, непонятном для нас.

На нашей стороне — шло тихое застолье.

Кожинов обратился вдруг ко мне:

— Сколько вам лет исполнилось, Володя?

— Двадцать один, — ответил я.

— Моей дочке почти столько же! — сказал Кожинов. — И что же, стихи пишете?

— Пишу, — сказал я.

— Почитаете нам?

— Почитаю, пожалуй, — сказал я ему. — Но только сегодня — мой день рождения. Поэтому раз уж вы привели его с собой, пусть вначале почитает Коля Рубцов. Потом,



надеюсь, почитает Наташа Горбаневская, замечательный поэт. А после Наташи почитаю и я.

Андрей Битов с интересом слушал меня. Его, видно, удивило такое распределение очередности чтения.

— Володя Алейников — гениальный поэт! — сказал он, обращаясь к Кожинув.

— Ну-ну, — сказал Кожинув, — посмотрим, послушаем.

— Ладно тебе, Андрей! — отмахнулся я. — Ты уж прямо этак патетично, категорично заявляешь. Не смущай меня.

— А я так считаю! — заявил Битов, обращаясь опять-таки к Кожинув.

Тот сделал каменное лицо.

— Володя — гений! — воскликнула Инга, встряхнув рыжей гривой. — Мы у нас дома, в Питере, читали вслух его стихи, целых две книги. И все в восторге были. И даже письмо ему тогда же написали и отправили. Было письмо? — спросила она меня.

— Было, — сказал я.

— Ну вот, — Инга радостно заржала, — было.

— Ребята, — сказал я им, — хоть у меня и день рождения, но мне, поверьте, неловко такое слушать.

Рубцов сидел, надувшись. Молчал.

Что-то было в облике его от подростка, что-то — от старичка.

Рубцов молчал — будто ждал какой-то команды.

И такая команда последовала.

— Коля! — обратился к нему Кожинув. Обратился ласково, мягко. Но — требовательно. — Коля! Почитай нам. Ты же такой хороший, просто замечательный — русский поэт. — Кожинув сделал сознательное ударение на слове «русский» и покосился на нашу сторону стола. — Почитай, Коля! Надо читать!

Рубцов, не глядя, протянул вперед руку к бутылке с водкой, налил себе полный стакан, выпил его, поставил на стол, вытер длинноватым для его руки, широким растругом прячущим его ладонь, рукавом пиджака нервически искривленный рот, затем, точно так же, не глядя, протянул другую руку за спину, достал гитару и пристроил ее у себя на коленях.

Он ударил по струнам, которые скрипнули, звякнули, но никак не зазвучали.

Играть он явно не умел.

Может быть, так, немножко. Приблизительно.

Он ударил по струнам — и вдруг запел, и даже не запел, а заголосил, потом сразу же перешел на негромкий речитатив.

Гитару он держал то как гусли, то как балалайку. Она была скорее антураж, реквизит, нежели музыкальный инструмент.

Он — произносил, полупел, говорил нам свои стихи:

— Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...

Он преобразился. Похорошел.

По его некрасивому, простоватому, маловыразительному лицу прошло вдруг — видение красоты.

Прошло, но в глазах — осталось.

Кожинув смотрел на него задумчиво, с нежностью.

Битов растерянно моргал покрасневшими глазами.

Стихи рубцовские — песня, баллада, реквием, плач — звучали в тишине.

Мы внимательно слушали.  
Стихи были действительно хороши.  
Они — жили, звучали.  
Были они — настоящими.

(Когда-то я записал свое ощущение этого давнего вечера, впечатление свое от этого рубцовского чтения, которое было таким обособленным от Москвы, от людей, от вообще всего, таким обреченно-поющим, неожиданно сильным и ярким, что запомнилось мне навсегда.

— Тот вечер — за снегом. Там — грань между жизнью и смертью. Там — времени горечь, и там же — его милосердие. Незримые нити упрямо тянулись оттуда к дорогам и судьбам, к рождению мира и чуда. Четыре души поднимались над гулом застольным — виталицы-птицы в юдольном родстве своевольном. О том, что почуяли, струны чуть слышно звенели — все это мы свяжем потом с круговертью метели...)

Потом Рубцов читал и другие свои стихи.  
И мне они — нравились.  
Да и всем — на нашей стороне стола — нравились тоже. Талантливый человек, это было ясно.

Кожинов победоносно поглядывал на нас.  
Еще бы! Рубцов — его, кожиновская, гордость, его открытие.  
Его подтверждение — собственных теорий.  
Его фигура — в его, кожиновской, литературной игре.  
А мы все, и особенно — мы с Горбаневской, — что мы?  
Что мы — для него, стратега и тактика литературного, но еще и практика, так сказать — матерого, железного реалиста?  
Посторонние люди, да и только.  
Всем своим видом, всем поведением своим он это нам показывал.  
Ну что ж, валяйте, стратег и тактик.  
Торжествуйте, коли очень уж хочется.  
Так я тогда рассудил.

(И вспомнил я то, что рассказывал мне однажды Битов, будучи в подпитии, с откровенностью, странной в те годы, и тем более для него, тоже стратега и тактика, можно считать, уверенно, без фонарей и ариадниных нитей, ориентировавшегося в лабиринтах тогдашней литературной жизни, официальной и неофициальной, сразу на двух фронтах, о Кожинове и о том, как всего лишь одна кожиновская полупричуда радикальным образом повлияла на его, битовскую, литературную судьбу.

Кожинов был зятем Ермилова. Того самого, злостного гонителя Маяковского.  
У Андрея вышла в Ленинграде первая книга прозы — «Большой шар».  
Время было — печально известным, по хрущевскому приказу, временем всесоюзного разгрома формалистов.

Под эту гребенку попадал и Битов. Книгу его питерское литературное начальство и подыгрывавшие начальству, подсуежившиеся, услужливые исполнители решили — громить. Уже готовы были разгромные статьи, которые вот-вот должны были появиться в ленинградской печати.

И тут, буквально накануне готовящихся событий, грозящих обернуться для Битова роковыми, то ли по пьянке, то ли с похмелья, битовскую книгу прочитал Вадим Кожинов. И книга эта почему-то очень ему понравилась.

Он решил сделать доброе дело — поддержать молодого прозаика. Он написал хорошую рецензию.

И что же — дальше?

Он принес ее своему зятю, Ермилову, и предложил подписать ермиловским именем. Тот — подписал.

Рецензия, приветствующая выход битовской книги, да еще и за подписью Ермилова, сразу же появилась в «Литературной газете». Появилась накануне разгрома. То есть — вовремя. Еще немного — и было бы поздно.

Можно себе представить рожи питерских литературных чиновников, которых вдруг, вот так, разом, обезоружили!

Сам Ермилов написал! Хвалит Битова.

Дело следовало переигрывать.

И вместо разгромных статей появились в питерской прессе — хвалебные.

И литературная судьба Андрея Битова была — отныне и навсегда — узаконена и определена.

Вот на что способен бывал Кожин.

И вскоре Андрей с ним познакомился.

Об остальном — говорить не хочу. Незачем. И многоточий — тоже не надо. Мало ли как оно, в прежние времена, бывало!

Те, кто хотят, сами пусть говорят.

Но захотят они — вряд ли.)

Наш вечер январский — длился.

Лялин дом — деревянный скворечник — поскрипывал и пошатывался, постанывал и вздыхал.

За окнами — разгулялась метель.

Рубцов читал стихи.

Я слушал его внимательно.

Мне было не только интересно, дело было в другом.

Вдруг понял я, что он — не русский человек, а скорее — из какого-нибудь угро-финского племени.

Потому что — не русское это мышление, не стержневое.

И образная система — иная, более северная, глухая, лесная.

И сам строй стихов, сам звук — блеклый, белокровный какой-то, белесый, синешушый, торфяной, каменистый, мшистый.

Чувствую это — и все тут.

И не переубедишь меня.

Знаю, что — так.

О следовании есенинской линии и всему прочему, нарочито-русскому, подчеркнуто-российскому, кондовому, якобы — кровному, я уж и не говорю.

Но какая же это русскость, если это — другая кровь?

А с нею, разумеется, и совсем иная песня.

Что за странная глухота — на эти основы основ — у таких вот, мнящих себя знатоками русскости, вроде Кожина, литературных деятелей?

(Некоторое время спустя я высказал свои догадки Битову.

И что же услышал я от него?

— Оказывается, Коля Рубцов по национальности — вепс! — вот что сказал мне Битов.)

Ну конечно. Вепс. Угро-финн. Но никак не русский.

Лишний раз убедился я в том, что чутье у меня — непростое. Речь! Умейте слушать речь.

И все тогда — вам откроется.

Но немногие это умеют.

И отсюда — все казусы, все нелепицы, все последствия их глухоты.

Слух на речь — не привьешь, не внедришь по приказу.

Или он есть — или нет его.

Слух на речь — это Божий дар.

Но его в России — не ценят.

Рубцов между тем отчитал свои лирические стихи — и, вдохновившись вниманием слушателей, а еще, само собой, подкрепившись опять спиртным, перешел на какие-то истерично-задорные, разухабисто-ироничные песенки.

Что-то вроде:

— Стукнул по карману — не звенит. Стукнул по другому — не слышать. Если только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать.

Или такое вот:

— Ах, что я делаю? Зачем я мучаю больной и маленький свой организм? И по какому же такому случаю все люди борются за коммунизм? Скот размножается, пшеница мелется... — Тут я уже позабыл слова, а заканчивалась песенка неожиданно прозорливо и грустно: — Так замети ж меня, метель-метелица, так замети ж меня, так замети!..

Это уж совсем не понравилось мне.

Однако именно январская метель-метелица и замела его — четыре года спустя, в Вологде.

Там и погиб он от рук доведенной им до отчаяния, истерзанной им, вконец униженной, измученной женщины. Противно и больно об этом говорить.

Знаю жестокие подробности, но не хочу их здесь излагать.

Не один я об этом знаю.

Думаю порой: и откуда такая жестокость, такой садизм — в этом вот маленьком, тщедушном, переполненном самомнением, закомплексованном человечке?

Поэт? Ничего себе поэты пошли...

Талант? А мало ли вокруг талантов?

И никто с ними сроду не возился, не пестовал их, не выхаживал, не пропагандировал, писания их не издавал.

Есть у Рубцова — несколько хороших стихотворений. Десяток наберется.

Но зачем — делать из него знамя?

Что за бред? Очередной российский перебор.

Алкоголик, псих и садист — и на тебе, прямо на знамя его!

Сказать бы: окститесь, опамятуйтесь!

Да кому — говорить? Таким же, двойственным, раздвоенным, под личинами разными собственную мерзость прячущим, что ли?

Российские парадоксы.

Отечественный абсурд.

Отсутствие слуха. На речь.

И — правды. И чести. И совести.

И уже в тот давний вечер что-то и трогало меня в Рубцове, но что-то, еще не сформулированное, но — чуемое, превышающее — то, первое, трогательное, заслоняющее его, уже почти вычеркивающее, отталкивало.

То, что я говорю здесь, — это мое мнение.  
Никому его не навязываю.  
Но свою правоту — знаю.  
А время — еще обязательно скажет свое весомое слово.

Потом — читала Наташа Горбаневская.  
Читала — свои великолепные стихи шестидесятых, стихи — выражение сердцевинного времени шестидесятых, стихи, которые так бесконечно дороги мне.  
И ее — слушали.  
И Кожинов — напряженно, внимательно — слушал.  
И Рубцов — да куда ему было деваться? — тоже слушал. Наташа — поэт. И другого такого доселе — среди пишущих женщин — нет.

Потом — читал я.  
И меня — слушали.  
И Кожинов — заинтересованно даже — слушал.  
И Рубцов — ревниво, насупившись, этаким букой, не туда, выходит, попавшим, где его всегда привечали, но поскольку здесь выпивка есть, тоже вроде бы слушал — не слыша.

Но слышал меня — Битов. Инга Петкевич — слышала. Слышали меня — мои друзья.

Ну а после того, как мы почитали стихи, взял гитару Вадим Кожинов — и запел. Хорошо, душевно. Пел он вроде и сдержанно, тихо — да все же с надрывом. Не без этого. Русские, старые — тактик, стратег — или, может, главарь несусветного лагеря? кто он? — ответа не ждите, не скажет никто, и не знает никто, просто — вечером зимним хмельной человек, — романсы он пел. Захотелось, наверное, петь — вот и пел. Что же! Вольному — воля.

Далеко уже за полночь было. Время пело, цвело, губило. В нем росла молодая сила. Но чего мы в нем дождались?

Фонари в нем горели где-то. В нем казалось мечтою лето. В нем хотелось тепла и света. Постепенно мы все разошлись.

Вот и вспомнил я свой давнишний, для меня и теперь не лишний, — в шестьдесят седьмом, невозвратном, ну а может быть, незакатном, — день рождения, со стихами, всеми судьбами и веками, что столпились гурьбой во дворе, — звук из прошлого, знак в январе...

...В Ленинград сорвались мы неожиданно, как-то сразу, под настроение, по наитию, не иначе, да, конечно, в конце апреля, в шестьдесят седьмом, окрыленном и еще счастливым году.

То есть, в общем-то, не совсем уж так вот, будто бы в сказке, неожиданно. Поехать-то нам хотелось давно. Хотелось — все больше. Привыкли бывать мы в Питере. Поехать туда опять мы очень даже хотели. Да только не знали, когда же конкретно сумеем выбраться.

Все решилось, как и всегда у нас в те годы, на удивление просто, само собой.

Свободные дни у нас были. Как ими распорядиться? Да вот и распорядились. Настроение — если не все, то, бывало, многое значило.

Сидели с Наташей Кутузовой, супругой моей, в гостях. Томились Москвой. Весною веяло в окна. Весною — значит пространством. А время — что оно, время? Все оно — наше. Конечно же, наше. В молодости его было у нас предостаточно. Звало нас больше — пространство.

Был вечер. Мы пили вино. Горела свеча, оплывая.

И вдруг мы решили: едем! Прямо сейчас, не откладывая. Вернулись к себе, собрались. И — напрямиком на вокзал.

Обычно мы путешествовали, по привычке своей, налегке.

Сумка через плечо. В ней — самое необходимое из вещей. И — в дорогу, вперед!

Поезда на Питер в то время из Москвы отправлялись с четкой, отлаженной регулярностью, часто, один за другим.

Билеты стоили дешево. Доступны они были — всем.

Потому в минувшие годы молодежь повсюду и ездила так охотно и постоянно. При некотором желании можно было тогда объехать хоть половину страны.

Несмотря на дни оживленные, взбудораженные, предпраздничные, мы легко купили билеты.

И вот уже ехали в поезде, по направлению к Питеру, — и вагон был полупустым, и мы с комфортом устроились на нижних удобных местах, — и ночь была впереди, с ее огнями и станциями, с ее лесами, полями, разбуженными весной, с ее темнотой, прохладой, со все возрастающей скоростью летящего в завтра поезда, чтоб утром сойти спросонок нам на ленинградский перрон.

Что, разумеется, утром ранним и произошло.

Побродив немного по городу, мы поехали в гости к Битову, в еще незнакомое Токсово, на дачу, прямо по адресу, оставленному Андреем, — и вот, оказавшись за городом, довольно легко разыскали в поселке Глухую улицу, и на ней — деревянный дом.

Нас встретили там супруги — Инга Петкевич с Андреем.

Они были рады гостям — и мы были рады хозяевам.

Затевался, конечно, стол. Как тогда полагалось — с выпивкой. От нее никто не отказывался. С чего бы? Наоборот: возведя ее в ранг традиции, к ней — стремились, ее — поощряли, без нее — так всем нам казалось — обойтись было невозможно. Потому и куплено было в магазине, по счастью — ближнем, ритуальное, неизбежное, да побольше, с запасом, питье.

Андрей, оживленный, подвыпивший, то и дело шел в угол, к проигрывателю, и ставил одну и ту же заигранную пластинку с забористыми частушками.

Почему-то частушки эти, трень да брень, ему очень нравились.

И в доме, довольно просторном, под треньканье балалайки, звучало, с упрямством дятла, глухое, лесное «чо»:

— Милый, чо? — Да я ничо, ты целуешь горячо. Если люди что и скажут, это все для нас ничо.

Пластинка, шипя, останавливалась. Андрей подходил к проигрывателю и ставил ее опять.

И звучало косноязычное:

— Не ходи ко мне талды, колды мне шибко неколды, а ходи ко мне талды, колды мне будет есть колды.

Эти «талды-колды» сидели у всех в печенках.

Но Андрей все никак, вдохновляясь этим «чоканьем», не унимался.

Он восторгался — звучанием. Фонетика непривычная — очень его занимала.

Остальные — просто терпели.

Наконец игрушка ему вроде бы надоела.

Инга с Наташей дружно, облегченно вздохнули — и сразу же занялись женским делом своим — приготовлением скромной, но необходимой закуски.

Мы с Битовым вышли к озеру.

Плотные, белые, с жилками лиловатыми, облака появлялись, одно за другим, чередой сплошной, впереди, из-за темного леса, описывали в смутном небе крутую дугу и заваливались назад где-то за нашими спинами.

Финские, мшистые, топкие, непривычные глазу места, чухонские, — это уж точно.

Вода спокойная в озере, отражая широким зеркалом серовато-синее небо с наползающими облаками, отливала холодным, скользким, как змеиная шкурка, упругим, растекающимся вдоль берега, убегающим вдаль, к другому, лесному, дикому берегу, пульсирующим, подвижным, ртутным зловещим блеском.

Возникало порой ощущение не то чтобы зазеркалья, но места очень уж странного, непонятного, слишком чужого, находящегося уже за той ощутимой гранью, до которой всегда простиралось привычное и родное, и во всей своей отрешенности от всего, к чему тяготела и рвалась доселе душа, — даже ненужного ей, потому что иные здесь ритмы у природы и у людей.

Было вроде бы и тепло, но не так, чтобы сразу не чувствовать вначале даже приятной, но вскоре — досадной, как-то незаметно, упрямо, настырно заполняющей, заслоняющей, обволакивающей зачем-то все вокруг, многослойной, пресной, знобкой озерной прохлады.

Андрей говорил оживленно:

— Побудьте у нас! Подольше. Выпьем. Поговорим. А утром — баньку истопим. Погуляем потом, все вместе, побродим по нашим окрестностям.

Не помню, что же на это отвечал я ему. Но только времени на путешествие было у нас маловато. Погостить здесь немного — это одно, а вот загоститься — не в наших было такое. Мера всему, согласитесь, всегда нужна.

Мы вернулись на дачу. И вот — началось у нас дачное, дружеское, продолжительное застолье.

А потом, как это бывало и всегда, по традиции нашей, попросили меня хозяева, ближе к вечеру, ощутив настроение подходящее как-то вдруг, почитать стихи.

Я давно уже, с той поры, как приехал сюда, заметил лежавшую на столе, среди разных бумаг, наверное — рукописей хозяев, Ингиных и Андреевых, мою осеннюю книгу шестьдесят четвертого года, самиздатовскую, конечно, мною перепечатанную на тонкой, хрустящей бумаге и подаренную в Москве, однажды, при случае, Битову.

Я взял со стола эту книгу — и стал, чуть прикрыв глаза, волнуясь, читать стихи свои, лишь изредка в текст заглядывая, больше — читая по памяти.

Восторги Андрея с Ингой после чтения моего оказались на редкость бурными.

Битов размяк, расчувствовался. Глаза его, близорукие, карие, повлажнели.

А Инга, слегка потряхивая своею рыжей гривой, как леди Годива, громко, решительно, назидательно, подчеркнуто твердо, с укором, напрямую, ему сказала:

— Вот видишь, какие стихи! А ты взял сюда с собой Володину книгу — да так до сих пор ее и не раскрыл.

Андрей покраснел, смутился. Неуклюже начал оправдываться.

Пришлось мне его поддержать:

— Да ты, Андрей, успокойся. Слышишь? Не переживай! Книга моя — у тебя. Еще успеешь, поверь, начитаться. Стихов у меня много, ты сам это знаешь. Прочитать их все сразу, оптом, да еще потом и усвоить — дело все-таки непростое. Стихи мои — вот увидишь — сами к тебе придут. Пришли ведь сами — другие мои книги стихов. Вот и эта книга — сама придет. Будь уверен. Так все и будет. Я-то знаю, что говорю.

— Да, да! — оживился Андрей, левой рукой вытирая глаза, а правой — уже всем в стаканы вино наливая. — Те книги — сами пришли. Действительно, замечательные книги! Помнишь, мы даже прислали письмо тебе, общее, от всех петербуржцев, о том, что все от стихов твоих, Володя, мы просто в восторге?

Я ответил:

— Помню, конечно! Хорошее было письмо.

(Это письмо, подписанное Андреем, Ингой, а также еще и множеством лиц, знакомых мне и незнакомых, из тогдашней богемы питерской, да вдобавок и разрисованное художниками, постоянно, при любом подходящем случае, вспоминал почему-то Битов.

Наверное, для него сам факт отправления мне этого коллективного, дружественного письма был особенно важен.

В нем говорилось о том, что, собравшись однажды в квартире у Андрея с Ингой, на Невском, начали было люди питерские читать, вслух, стихи мои, сразу из двух моих книг, подаренных давно Андрею в Москве, поначалу — читали выборочно, и вдруг — увлеклись, да так, что решили не останавливаться, покуда не прочитали обе книги, от корки до корки, — а это ведь больше полутора сотен вещей, примерно.

Восхитившись моими стихами, люди питерские богемные тут же, прямо на месте, немедленно, написать мне решили общее послание, — что и сделали.

В послании говорилось, по-питерски, определенно, прямо, без оличностей, от лица всех собравшихся, слушавших и читавших стихи, о том, что я — гениальный поэт, что книги мои — гениальные.

В чем собравшиеся и подписываются.

Получив конверт разрисованный, с еще более разрисованными, густо, одна к другой вплотную, чтоб все поместились, испещренными многочисленными подписями людскими, листками внутри, в конверте, был я тогда приятно удивлен и, конечно, рад.

Высказывать свое мнение никому ведь не возбраняется. Решили его немедленно высказать — вот и высказали. Правильно, значит, сделали. Так они все считают.

Значит, есть в стихах моих нечто такое, что может радовать и волновать людей.  
И слава богу, что — есть.)

Мы с моей супругой Наташей провели у Андрея с Ингой на даче славный денек, с беседами интересными, с прогулкой, с долгим застольем, с чтением, по традиции тогдашней, моих стихов.

Поздно вечером, утомившись, разместились мы все на ночлег.

А утром — поблагодарили хозяев за гостеприимство, символически с ними выпили, как положено, на посошок — и поехали снова в Питер.

Там были — прочие наши знакомые. Многочисленные.

Там — это самое главное — можно было бродить по городу. Просто — гулять. Ходить. Мы это любили делать. В Питере обязательно надо много ходить. Лишь тогда вам откроется — город. Магический. И отчасти — зазеркальный. С жизнью особенной. Жутковатый. Прекрасный. Единственный. Другого такого — нет.

Набережные. Мосты.  
Снов и страстей черты.  
Чья это весть? Навь —  
посуху и вплавь.  
Сгинет, и вновь — явь.  
Значит, ее славь.  
С правью дружна она.  
Днесь на земле — весна.

В Неве — небывалая, странная, промежуточная вода. Текучая. Очень подвижная. Связующая крепкой нитью Ладогу с Финским заливом. Река — артерия. Вена с движу-



щейся, пульсирующей, циркулирующей внутри густой, беспокойной влагой. Вода глубинная, темная. С едким блеском. Гулкая. Дымная. Туманная. Хмурая и хмарь. Иногда — смоляная. Порой — иссиза-серебристая. Пепел, зола. Гарь. Полночь. Заря. Встарь. Белые ночи. Дни — в дымке. Еще взгляни. Не усни, как-то вдруг, ненароком. Не спи. Получше смотри. Нева — меж двумя сосудами сообщающимися. Нить. Связь. Отводная трубка. Природный канал. Или, может, рукав. Короткая. И широкая. Тугая — от внутренней силы, от буйной стихии водной, — распирает ей порой, изнутри, — и выходит она из берегов, разливается. И случаются — наводнения. Река — мираж. И — фантом. Протянутая, как рука, в пространство, — к заливу, к морю. Вытянутая — на запад. В Европу. И дальше. К Атлантике. К морской, к океанской стихии. Нева — и пронзительный ветер. Нева — и безумный век. Нева — и время. Чье? Наше. И — судьбы. И человек. Нева — и город. Пальмира Северная. Здесь сыро. Или холодно. Или — жара. Или — завтра. Или — вчера. Сновидение? Или явь? Наваждение? Что же, славы! Нутряная вода. Дремучая. Болотная. И пучинная. Вода — ну, стерва! Оторва. Курва? Скорее — прорва. Вода — непрерывная. Вечный двигатель. Непререкаемая. Прочная. Неиссякаемая. Вода — из-под льда. Небо — в воде. В небе — вода. Вода — навсегда. И над нею — звезда.

Город... Ох, этот город!  
 Всем городам город.  
 Город — распахнутый ворот.  
 Круговорот лет.  
 Выход — куда? В Европу?  
 К морю? А вдруг — к потоку?  
 Ветер — откуда? С моря?  
 Фосфорно-мглистый свет.

Петербург, одним словом. Питер.  
 Со своим притяжением сильным.  
 С бесконечно-коротким прощанием.  
 С неизменным потом прощанием.  
 С неизбежным к нему возвращением.  
 И — числом календарным, неожиданным, обернуться нежданной встречей когда-нибудь снова готовым.

Петербург, со своим столь знакомым и все-таки сызнова, странно, до жути, а там только шаг до блаженства, разительно праздничным, исстари — новым, решительным, в прибалтийских дождях крещением.

То-то нам, со своим — в пространстве и сквозь время — перемещением, был он — правом на волю, был — маревом, заревом, кровом.

Нам открыт был наш век повсеместно.  
 Коль сумеешь — всему внимай.  
 Но — Москва есть Москва, как известно.  
 И в Москве продолжался — май...

...Однажды, в шестидесятых, услышав мои переводы с грузинского и расчувствовавшись до слез неожиданных, Андрей решил попытаться их напечатать, а если получится, то, может быть, и стихи мои напечатать, хотя бы подборку, для начала пусть неболь-

шую, но и то хорошо, в моем-то положении, — и повел меня, человека, не издаваемого во пределах родных, в редакцию журнала «Дружба народов».

А вернее — повез. И — с комфортом. На машине. Своей, разумеется.

Был он автором в этом журнале.

Все его там прекрасно знали.

Все — любили. А как же — иначе?

Это — Битов, это — Андрей.

И его — нельзя не любить.

Вот мы с ним и поехали. Вместе. Не на выпивку. По делам.

За рулем он сидел уверенно и, по-своему, театрально, словно летчик-ас за штурвалом быстрокрылого самолета.

Очень шло ему это, все-таки — не ходить, как другие люди, по делам или просто так, — но именно ездить. В машине. Просто так. Потому что — нравится. И особенно — по делам.

Битов был — на коне. В седле.

На мягком сиденье своем восседал он свободно, привычно откинувшись на скрипучую, при торможенье пружинящую и такую удобную, что воспевать ее можно, спинку.

С места срывался резко — и машина его, вливаясь в потоки шумные транспортные, вырываясь из них, обособливаясь, летела, скользила, сквозила, стремилась, вперед и вперед, по вздымавшей свои этажи к небесам то слева, то справа, расстилавшей асфальт под колесами, чтоб удобнее было ехать вдаль куда-то, к желанной цели, беспокойной, бескрайней Москве.

Добрались до редакции. Вышли на скрипучий, утопанный снег. Захлопнули дверцы. Шагнули, один за другим, за порог.

Внутри было тесно, тепло.

За столами, плотно заваленными громоздящимися, наподобие восточных ступенчатых пагод, бумагами в папках с тесемками и грудями всяких книг, сидели какие-то люди.

Оказалось, что сплошь — это надо же, что за чудо журнальное — дамы.

Завидев Битова, все они оживились, заулыбались.

Закричали:

— Андрей! Андрей! К нам пожаловал сам Битов!

И волнение их охватило — да такое, что растеряешься с непривычки, — ведь как ликуют! Словно праздника дождались.

Дамы с мест уже поднимались — и рвались навстречу Андрею.

Дамы пели что-то по-птичьи, щебетали, охали, ахали.

Дамы — рады были Андрею.

Битов — здесь!

Какая работа?

Подождет работа.

— Андрей!

— Как мы рады!

— Здравствуйте, здравствуйте!

— Вот сюрприз так сюрприз!

— Андрей!

— Вы надолго к нам?

— Вы откуда?

— Вы куда?

— Вы к нам?

— Наконец-то!

- Дождались!
- Мы рады!
- Андрей!

Дамы — рады. И Битов — рад.

Мне — пути уже нет назад.

Мне — стоять и молчать. И — ждать.

Что же — дальше? Да что гадать!

Андрей, сняв очки, протирая запотевшие стекла платком, огорошил восторженных дам заявлением громким своим:

— Я привел к вам сегодня поэта гениального. Да, это правда. Вот знакомьтесь, Володя Алейников. Перед вами, сейчас. Он — гений.

Дамы — все до единой, услышав это — сразу оторопели.

Я смутился. Взглянул на Битова.

И сказал:

— Ну зачем же — так?

— Ничего! — дружелюбным тоном успокоил меня Андрей. — Говорю все, как есть. Как думаю. А народ — пускай привыкает.

И народ — все дамы, сраженные наповал словами Андрея обо мне и моей гениальности несомненной, — с трудом привыкал.

И к тому, что я молод совсем.

И к тому, что явно стесняюсь.

И к тому, что Андрей говорил обо мне, безусловно, всерьез.

Нас обоих, поэта с писателем, двух друзей, пригласили присесть.

На расшатанном стуле, сжимая свою старую зимнюю шапку с опущенными ушами, в помещении теплом снятую, расстегнув пальто, размотав шарф на шее, руки сложив на коленях, глядя смущенно вдаль куда-то, поверх голов, я сидел под взглядами, быстрыми, перекрестными, любопытными, дам притихших редакционных, элегантных и молодежавых, неуютно себя ощущая и не зная, куда мне деваться.

Битов, глядя на дам ласково, но и строго, из-под очков, с профессорской ноткой в мягком, низком, с баритональным бархатом властным, раскатистом голосе, невозмутимо, уверенно, продолжал говорить обо мне:

— Володя — следует помнить всем — основатель СМОГа.

Дамы переглянулись мигом. И — напряглись.

Битов сурово спросил их:

— Знаете вы — о СМОГе?

— Как же, как же! Конечно, знаем! — быстро ответили дамы.

И вновь меж собою, с таким значением, переглянулись.

Эх, грустно подумал я, вот он, преткновения камень! Теперь-то все уж точно, точнее некуда, не впервой ведь это, пропало.

Говорил же я, специально, по дороге сюда, в редакцию, говорил, и серьезно, Андрею, чтоб запомнил: ни слова о СМОГе!

Так нет же, ну как нарочно, с этого он и начал.

Будто не знает, чего стоил мне этот СМОГ — и как это все обернулось жестоко потом для меня.

И еще неизвестно совсем, сколько лет, может, всю мою жизнь, потому что бывает всякое, предстоит мне все это расхлебывать.

Да чего уж теперь! Слово — сказано. А оно, как известно каждому, и особенно в нашей стране замечательной, не воробей.

К тому же и это приставшее ко мне величание — гением.  
Ну разве нельзя без этого хоть когда-нибудь обойтись?  
Приклеилась, как ярлык, и не отдерешь, и не пробуй, ко мне, задолго до СМОГа, эта самая гениальность.

Можно ведь было представить меня сейчас поскромнее.

Люди — сплошь незнакомые.

Кто я такой — для них?

Так, молодой человек.

С Андреем сюда пришел.

Может так быть? Может.

Мало ли что он захлеб им обо мне рассказывает!

Люди они — казенные, подневольные, государственные.

В советском печатном органе, под надзором властей, работают.

Редакционные люди.

Люди — официальные.

А тут, ни с того ни с сего, — СМОГ! Да еще и — гений!..

Андрей между тем, указывая на меня простертой ладонью, продолжал говорить внимающим любимицу писателю дамам:

— Володя Алейников — знать об этом следует вам — знаменитый молодой поэт. Вы читали его стихи?

— Нет, не читали! — взоры потупив, ответили дамы.

— А я вот, представьте, — читал! — сказал им с укором Андрей. — И продолжаю читать. И наизусть кое-что могу прочесть, при желании. Замечательные стихи!

— Верим, верим! — сказали дамы.

— Надо стихи Володины издавать, — сказал им Андрей. — Может быть, с этим в дальнейшем и возникнут какие-то сложности. Я вполне допускаю это. Но Володю — надо издать. Сейчас. И потом — издавать. И я вижу, кажется, выход. Переводит Володя с грузинского. Замечательно переводит. Я слышал. Мне — очень понравилось. И ведь это — как раз для вашего журнала. Рекомендую вам — его переводы!

— Ах, так? — опять меж собою переглянулись дамы. — Ну, это другое дело. С этим у нас куда проще, нежели со стихами. А то, как сказать-то вам, знаете ли, — обратились они ко мне, то ли ансамблем слаженным, то ли наперебой, да это уже и неважно, ведь всех их воспринимал я от смущения, от ощущения себя здесь — белой вороной, — всех заодно, вот этих редакционных дам, во множественном числе. — А то, ну как объяснить, понимаете ли, Володя, — СМОГ. Мы ведь в курсе дела. Не на луне живем. Кое о чем наслышаны. Стихи напечатать — сложно. А вот переводы ваши с грузинского — это можно попробовать напечатать.

— Вот и попробуйте! — твердо и призывно сказал им Андрей.

На стенах редакционного тесноватого помещения разглядел я, резко сощурившись, какие-то надписи, подписи.

То, что в столбик записано, — это, скорее всего, стихи, — догадался я, не пытаясь прочитать хоть одну строку.

А короткие надписи — видимо, афоризмы, остроты всякие.

Ну а подписи — вон их сколько там — их отсюда и не разглядишь.

Редакционные дамы увидели, что смотрю я, сидя на стуле расшатанном и шурясь, на стену, исписанную от пола до потолка почти, во всю ширину, так, что и места на ней свободного не остается.

— Володя! — журча и звеня приветливыми голосами, обратились они ко мне. — А вы нам прямо сейчас что-нибудь не напишете? Стихотворение. Или хотя бы четверостишие. У нас — такая традиция. Наши любимые авторы свои автографы нам оставляют — вот здесь, на стене.

— Да вы ведь, поймите меня, ничего моего и не знаете! — совсем уж смутился я. И растерялся даже немного. Потом спохватился и продолжил: — Так вот, неожиданно, с места в карьер, спонтанно, я не привык. Вы меня врасплох застали. К тому же — я ведь не ваш еще автор. Вы уж простите меня, но писать я сегодня не буду ничего. Если случай представится — то еще напишу, потом.

— Ну, потом так потом. Понимаем! — дружелюбно сказали дамы.

Андрей с интересом писательским наблюдал, как я, деликатно вроде бы, но и решительно, проявляя характер твердый, на ненужную мелочовку не покупаясь, отказываюсь оставлять в редакции этой, по капризу дам, свой автограф.

— Да хоть что-нибудь напиши, — подзадорить меня он попробовал неуклюже, — любые строчки. Хочешь, я подскажу тебе, что здесь можно сейчас написать?

— Нет, нет, Андрей! — отмахнулся я от него. — Спасибо. Не надо. Нельзя так вот, сразу же, лишь бы обнародовать что-то свое, хотя бы на этой стене, привлекать людское внимание любым, даже этим, поспешным и ненужным, в общем-то, способом

— Ну, как хочешь! Дело твое! — пожал плечами Андрей.

Дамы снова переглянулись.

— Вы, Володя, — сказали они, — приходите к нам. Со своими переводами. Кстати, они с собой у вас или нет?

Я ответил им просто:

— Нет.

— Вот и ладно! — сказали дамы. — Ничего. Это все поправимо. Вот мы с вами договоримся — и придете вы к нам с переводами, на машинке перепечатанными, как положено. Хорошо?

Я сказал:

— Хорошо, я приду.

— Переводы ваши внимательно мы посмотрим, — сказали дамы, — и обсудим потом их, и что-нибудь, посоветовавшись, решим.

— Смотрите и обсуждайте, советуйтесь и решайте. Обязательно! — сделал акцент на слове последнем Битов.

— Ну что же, Андрей, — сказал я, взглянув на него вначале, а потом и на дам-редакторш, — мы вроде договорились. Пойдем? Наверно, пора!

— Пойдем! — согласился Андрей.

Попрощались мы с милыми дамами.

— До свидания!

— До свидания!

— Заходите к нам!

— До свидания!

Белых ручек легкие взмахи.

Взгляды быстрые — и пытливые.

— До свидания!

— В добрый путь!

И — улыбки, почти Джокондины.

Холодок подведенных глаз.

Восклицания:

- В добрый час!
- До свидания!
- Ждем!
- Привет!

Потемнел ли впрямь — белый свет?

Или — рано темнеть ему?

Что за странности? Не пойму.

Иль неймется Третьему Риму?

Снег нагрянул. За снегом — дым.

Город замер — и стал седым.

Время СМОГа?

Мы вышли — в зиму.

Андрей открыл дверцы машины.

Мы забрались вовнутрь.

— Ничего из этой затеи не выйдет! — с грустью, нахлынувшей внезапно, вымолвил я.

— Почему? — озадачился Битов.

— Потому. Потому что — СМОГ.

— Ну и что? — Андрей удивленно посмотрел на меня. — Ничего я, получается, не понимаю.

— Зато я хорошо понимаю, — так ответил ему я тогда. — СМОГ, Андрей, это значит — запрет. СМОГ — это чуть ли не рок. Для меня — хороший урок. СМОГ — это значит — и нынче, и впредь — не пускать на порог. В редакции, например. И газетные, и журнальные. И, само собою, в издательства. Там ведь не идиоты законченные сидят. Все они хорошо знают — и все понимают. Директивы и распоряжения, сверху идущие к ним, старательно выполняют. В том числе и о нашем СМОГе. Там напрямую сказано, по-советски: не издавать! Там, в циркулярах этих, я, между прочим, первым номером числюсь. Так-то. По алфавиту, естественно. Поскольку моя фамилия с буквы «А» начинается. Да еще потому, что власти не желают меня печатать.

— Да? — протянул Андрей. — А я им начал — со СМОГа. Я ведь хотел — как лучше.

— Сказал бы ты им или вовсе ничего не сказал о СМОГе, — пояснил я устало Битову, — это не столь уж и важно. Все равно они, эти дамы, сразу же сообразили бы, что я-то и есть тот самый Алейников. Тот, которого приказано — не печатать.

— Но все-таки ты попробуй, — буркнул Андрей, — принеси им свои переводы. Вдруг да получится с публикацией?

— Принести-то я принесу, — сказал я, — да вот относительно публикации — сомневаюсь. И даже не сомневаюсь, а знаю, уже сейчас: ничего с ней, увы, не получится. Время такое — сложное — у меня. Свежи у властей наших воспоминания — о недавнем прошлом, смогистском, как его именуют, моем. Появляюсь я часто на людях или редко — везде я чувствую неприятное, странноватое, с подковыркой какой-то, внимание — ко мне, ко всему, что я делаю, что говорю и так далее, и внимание это значит — непрерывное наблюдение. Плевал я на это, конечно. Да противно, поверь. И грустно. Терпеть приходится. Что же делать? И ждать, как всегда. Жить — и ждать. Да только — чего?

Битов, блеснув очками, закурил, взглянул на меня как-то искоса, сквозь белесый дым табачный, и промолчал.

Шумно вздохнул. Завел машину. Тронулся с места. Быстро довез меня до дому.

Сильный, белый, обильный, слепящий, резко, наискось, густо летящий, с грустью, к радости предстоящей, снег округу заполонил.

Снег, скрывающий все обиды, все следы, от покрова Изида к легким радугам светлой Ириды уносящий все, что хранил.

Снег — белизна. Как с чистого листа — в несусветной темени.

Снег — пелена. Что ж, выстоим сызна — в чистом времени.

Пелена, за которой, похоже, никакого просвета не видно.

Белизна, за которой все же проясняется что-то скрытно.

Попрощались мы, как-то наскоро, без особых эмоций, с Андреем.

Почему-то — устали оба.

Говорить было вроде бы не о чем.

Все и так уже было сказано.

Нитью вьющейся с чем-то связано.

С чем? Поди угадай. Попробуй.

Снег казался — белой чащобой.

Дымом. Скопищем зимних дум.

Битов был насуплен, угрюм.

Знать, на это была причина.

Зафырчала его машина.

Он уехал на ней — сквозь снег.

Словно тихий покинул брег.

Вдаль умчался. И — вглубь. И — ввысь.

Вихри снежные поднялись.

Белизна сомкнулась вокруг.

Снег — и СМОГ. Словно брат и друг.

СМОГ — и снег. Словно да и нет.

С черным вечером — белый свет.

Я остался один, в глубине тишины, посреди снегопада.

Постоял. Поглядел — куда?

В неизвестность, скорее всего.

И — пошел домой восвояси.

Хлопнула дверь подъезда.

Лифта я ждать не стал.

По сырым, скользким ступеням поднялся на четвертый этаж.

Позвонил. Подождал. Мне открыли.

Я стряхнул с себя снег — и вошел...

Переводы в «Дружбу народов» я принес. Потом. С неохотой.

У меня их — взяли. Сказали, что посмотрят. Что надо звонить, узнавать... С публикацией этой ничего, конечно, не вышло.

Все заглохло — само собой. Будто не было ничего.

Кроме зимнего дня — и снега.

Кроме снега — и слов о СМОГе.

Кроме снега — и зимнего сна.